

В ПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

ЖАУМЕ КАБРЕ

Ваша честь

Романы Кабре
относятся к категории книг,
чье содержание и отточенный,
изобретательный стиль
завораживают читателя.

*Лоран Мовинье.
Le Monde des Livres*



Большой роман

Жауме Кабре

Ваша честь

«Азбука-Аттикус»

1991

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

Кабре Ж.

Ваша честь / Ж. Кабре — «Азбука-Аттикус», 1991 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-19600-1

Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Ваша честь» (1991) был создан задолго до его знаменитого «Я исповедуюсь». Но уже тогда писателя волновала тема сильных мира сего, судебной коррупции и абсолютной власти, для которой существует лишь право сильного. Зима 1799 года. В Барселоне не прекращаются дожди, город кажется парализованным, и тем не менее светская жизнь в самом разгаре. Кажется, аристократов заботит лишь то, как отпраздновать наступление нового, девятнадцатого века. В кафедральном соборе исполняют *Te Deum*, а в роскошных залах разворачивается череда светских приемов... Но праздничную атмосферу омрачает странное убийство французской певицы. Арестован молодой поэт, случайно оказавшийся «не в то время не в том месте». Он безоговорочно признан виновным, тем более что у него обнаружили документы, которые могут привести к падению «вашей чести» — дона Рафеля Массо, председателя Верховного суда. Известно, что у этого человека, наделенного властью казнить или миловать, есть одна слабость: он обожает красивых женщин. Так что же перевесит: справедливость или власть, палач или жертва, «Я ее не убивал!» одного или «Я этого не хотел» другого?.. Впервые на русском!

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)-44

ISBN 978-5-389-19600-1

© Кабре Ж., 1991

© Азбука-Аттикус, 1991

Содержание

Книга первая. Под знаком Ориона	7
1	8
2	28
3	39
4	55
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Жауме Кабре

Ваша честь

Маргарите

За спиной общества дремлет закон.

Э. М. Форстер¹

Закон есть собрание произвольностей, заключенных в Кодекс и освященных обычаем каждой эпохи.

Он создан для профессионалов.

Рафель Массо

Где есть закон, найдется и лазейка².

Jaume Cabré

SENYORIA

Copyright © Jaume Cabré, 1991

All rights reserved

© А. С. Гребенникова, перевод 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

Книга первая. Под знаком Ориона

Созвездие Орион выпала честь считаться прекраснейшим на небесном своде. Оно представляет собой гигантский четырехугольник, широко распростертый от севера к югу и более узкий от востока к западу. Самыми примечательными в нем являются шесть звезд. Одна из них – альфа Ориона, или Бетельгейзе, имя которой берет начало от арабского «Ибт-аль-джауза», что означает «Подмышка великана». Это красная и очень яркая звезда. Бета Ориона получила название Ригель; это бело-голубая звезда, как и гамма Ориона, также известная под именем Беллатрикс, или Воительница. Однако жемчужины сего небесного собора хранятся в кушаке исполина – это двойные звезды, а также в его ножнах, где покоится таинственная туманность, или галактика, обнаруженная Гюйгенсом³, которой никогда не устанет любоваться глаз человека. Неукротимая фантазия древних цивилизаций усмотрела в астеризме этого созвездия легендарную фигуру мифологического персонажа: охотника, преследующего Плеяд. Глядя на звезды в осеннем небе ночной Барселоны, мы можем предаваться мечтаниям, воображая, что, спасаясь от Скорпиона, Орион нагоняет Плеяд, но на него нападает Телец. Как не поддасться очарованию этой сказки? Однако на самом деле все это поэтические изыски: созвездие, бесспорно, состоит из гигантских звезд, и существует вероятность, что они не имеют друг к другу никакого отношения. Выходит, наша прекрасная история может оказаться просто-напросто оптическим обманом. И все же подчас воображение служит для того, чтобы сделать действительность более удобоваримой.

*«Трактат об основах наблюдения за небесными телами»
Жасинт Далмасес. Барселона, 1778*

³ Зейлихем Христиан ван Гюйгенс (1629–1695) – голландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. Член Французской академии наук с момента ее основания в 1666 году и ее первый президент. В области астрономии: открыл кольца Сатурна и его спутник Титан, изучил и дал систематическое описание Большой туманности Ориона, открытой ранее, в 1610 году, французским астрономом, антикваром, энциклопедистом Никола-Клодом Фабри де Перейском (1580–1637).

1

Он улыбнулся. Целых два года он не улыбался. Его честь улыбнулся, прикрыв ладонью левый глаз, не отрываясь правым от телескопа. Казалось, он повстречал давнего друга: впервые за всю дождливую осень он приступал к наблюдению за звездным небом, в тот вечер чудно безоблачным. Он уже год не видел туманности Ориона и соскучился по его волшебному ядру, состоящему из четырех звезд, которые, по словам месье Галлея⁴, с головокружительной скоростью удаляются друг от друга, словно в порыве ненависти. Словно на небе есть ненависть. Всякий раз, когда дон Рафель Массо-и-Пуядес, председатель Королевского верховного суда, или же Аудиенсии⁵, провинции Барселона, наблюдал за движением небесных тел, его охватывало чувство собственного бессилия, ничтожества и боязни неизвестного, ведь звезды и тончайшие облака, до которых при взгляде в окуляр, казалось, рукой подать, были от него невозможно далеки, неприступны, безмолвны, недостижимы и загадочны. Внезапно на дону Рафеля нахлынуло воспоминание: «Эльвира, бедняжка моя», и улыбка исчезла с его лица. Он тряхнул головой, чтобы отогнать это воспоминание, и темноту сада огласил вздох. Председатель Верховного суда выпрямился и достал из рукава кружевной платочек. Он осторожно высморкался. Созерцание звездного неба в ночном саду неизбежно заканчивалось для судьи насморком, несмотря на то что на нем были надеты парик, треуголка и плащ. При взгляде невооруженным глазом созвездие Орион показалось ему как никогда родным. Дон Рафель убрал платочек в рукав, нагнулся, чтобы снова поглядеть на обожаемую туманность, и подавил желание выругаться, увидев, что она уже исчезла из поля зрения телескопа. Высунув язык, он добрую минуту провозился, чтобы вернуть беглянку. Донья Марианна предупреждала, что он простудится, и, как всегда, оказалась права. Однако он не пожелал упустить удобный случай, ведь в тот вечер, впервые по прошествии тьмы дней, ознаменованных облачностью – заклятым врагом астрономов, небо Барселоны открывалось ему во всей красе, бесстыдно сияя полным набором доступных взору осенних звезд. Собственно говоря, астрономом дон Рафель не являлся. В молодости, когда замысловатый, странный и таинственный мир законов начал овладевать его воображением, он любознательно присматривался ко всему, что его окружало, и завел знакомство с известными учеными, как, например, дон Жасинт Далмасес, который и приобщил его к астрономии. Он провел уйму бессонных ночей, тщетно пытаясь разгадать двойственную природу звезд в созвездии Лира – до чего несподручно наблюдать за созвездием Лира, почти всегда в зените! – или суматошной и радостной погони, которую Ганимед, Ио, Европа и Каллисто – словно они в догонялки играют – затеяли вокруг своей вечной няньки – ленивого исполина Юпитера с таинственным глазом в животе, как у космического Полифема. В юности дон Рафель с интересом следил за публикациями месье Галлея и в течение некоторого времени рассказывал знакомым, что намеревается стать астрономом. Но действительность берет свое: будучи уже без пяти минут адвокатом, он заключил, что нет резона бездумно пускаться по ветру многие годы, проведенные в изучении кодексов, канонов, законов и приговоров. Дон Рафель получил диплом юриста, женился и утратил привычку посвящать бессонные ночи безмолвной

⁴ Эдмунд Галлей (1656–1742) – английский астроном и геофизик. Член Лондонского королевского общества. Профессор математики Оксфордского университета, с 1720 года – директор Гринвичской обсерватории. Составил первый телескопический каталог звезд Южного неба; открыл первую периодическую комету (1682, комета Галлея) и предсказал ее возвращение в 1758 году; открыл собственное движение звезд.

⁵ Королевский верховный суд (Аудиенсия) – суд высшей апелляционной инстанции, существовавший в XVIII веке во всех провинциях испанской империи. Аудиенсии подчинялись генерал-капитану провинции, который выступал также в роли губернатора территории, попадающей под юрисдикцию Аудиенсии. Во главе Аудиенсии стоял так называемый гражданский регент, исполнявший функции президента Аудиенсии (в тексте романа: председатель Королевского верховного суда, или же верховный судья). В каждой Аудиенсии существовала Уголовная палата, являвшаяся судом последней инстанции по уголовным делам, ответственная за вынесение окончательного приговора и приведение его в исполнение.

тайне звезд. Время от времени он отдавал приказание вынести телескоп в сад и предавался мечтаниям, потому что по природе своей не находил ни в чем удовлетворения. Он завидовал чужому положению в обществе и богатству, красоте чужих жен, мудрости немногих избранных, благоразумию, встречавшемуся крайне редко, и счастьем, которым не обладал практически никто. По этой причине жизнь нашего героя состояла из неутолимой жажды и тревоги неумного сердца, которые заставляли его мечтать, хоть он и не родился поэтом, влюбляться, хоть он и не годился в донжуаны, беспрестанно карабкаться по служебной лестнице по головам всех прочих и делать вид, что счастье заключается именно в этом. Однако все это было не чем иным, как отчаянной попыткой вслепую ухватить столь желаемое счастье. Самое ужасное, что достичь его дону Рафелю так и не удавалось. И в минуты искренних раздумий он понимал, что неизменно остается от всего на полдороге. Подобно Юпитеру. Почтенный судья во многом ощущал свое сходство с этим небесным гигантом, который был слишком велик, слишком полон амбиций, слишком объемён для твердотельной планеты, но и слишком мал, слишком бессилен для того, чтобы стать самодостаточной звездой, полной огня, энергии и света. И так же, как Юпитер, он не мог обойтись без спутников.

– Что ж такое, опять она от меня ускользнула, – пожаловался дон Рафель бесконечным просторам Вселенной. В это мгновение он услышал шаги и увидел неясные отблески. – Погаси лампу, Ипполит! – упрекнул он приближающийся источник мигающего света.

– Госпожа велела, чтобы я вам сказал, что пора уже, – раздался голос невидимого камердинера.

– Да иду, иду я, что ты!

Он снова склонился над телескопом. И в раздражении убедился, что туманности и след простыл.

– Госпожа велела, – продолжал настаивать из тьмы Ипполит, – чтобы я вам сказал, что уже пробило восемь. И что перед концертом вам надобно парик переодеть.

– Оставь меня в покое, – сухо проворчал судья.

И не сдвинулся с места до тех пор, пока не почувствовал, что раздражение, вызванное вмешательством слуги, отпустило его. Однако внутреннее спокойствие, необходимое для наблюдения за движением небесных тел, испарилось. Все еще несколько разгневанный, он направился к дому, в потемках, спотыкаясь о каменные скамейки и о собственные мысли, потому что на несколько мгновений, как мимолетное видение, перед ним вновь предстал образ Эльвиры.

Во дворце маркиза де Досриуса, на улице Ампле⁶, собирались сливки барселонского общества эпохи Бурбонов⁷: военные, блюстители закона, инженеры, государственные служащие, преуспевающие коммерсанты, местные и приехавшие из других краев политики, попадались и французы, потерявшие последнюю рубашку в буране революции и нашедшие убежище в соседнем государстве, недоверчивом и перепуганном. Все эти господа, будучи людьми высочайшего бескультурья, собирались там, чтобы присутствовать при исполнении музыкальных произведений (чтобы слушать музыку, им пришлось бы сделать над собой вовсе немислимое усилие) или зевать под звуки александрийских стихов («И сердце с той поры одною мезтью дышит...»⁸) в исполнении приглашенного стихотворца.

Дон Рафель любил, когда его приглашали к маркизу де Досриусу, поскольку маркиз, будучи внимательным блюстителем добрых традиций, по-прежнему хранил обычай, согласно

⁶ Улица Ампле – Каррер-Ампле, или Широкая улица (*кат.*); расположена в Готическом квартале Барселоны.

⁷ Бурбоны – королевская династия, занимавшая престол в Испании в 1700–1808, 1814–1868, 1874–1931 годах. Начало испанской ветви Бурбонов в 1700 году положил внук французского короля Людовика XIV Филипп V Испанский.

⁸ «И сердце с той поры одною мезтью дышит...» – строка из трагедии Жуана (в испанском написании Хуана) Рамиса-и-Рамиса (1746–1819) «Лукреция», написанной на Менорке в 1769 году на каталанском языке в неоклассическом стиле.

которому дворецкий объявляет имена гостей. Дону Рафелю нравилось слышать: «Его честь дон Рафель Массо-и-Пужадес, председатель Королевской аудиенсии провинции Барселона, с супругой». Дон Рафель бросил дежурный взгляд на благоверную, донья Марианна в свою очередь посмотрела на него, и вместе они вошли в огромную гостиную, с которой не могла сравниться в роскоши ни одна другая гостиная на улице Ампле, предмет зависти барселонской знати, большой зал дворца маркиза де Досриуса. Кружкам гостей, убивавшим время тем, что под сурдинку перемывали косточки всем подряд, прибытие четы Массо дало новую тему для разговоров. («Видали? Дон Рафель с каждым днем все больше похож на вопросительный знак»; «как он усох и скрючился»; «а говорят, в делах преуспевает»; «это еще бабушка надвое сказала»; «к чему это вы?»; «ах, я бы вам такого могла порассказать...») А супруги Массо, не обращая на них ни малейшего внимания и расточая улыбки направо и налево, направлялись напрямик к центральному камину, где дон Рамон Ренау, престарелый маркиз де Досриус, в новеньком, по последней венской моде серебристом парике, прикрыв пледом ни к чему не пригодные ноги, привечал гостей, сидя в хитроумном кресле на колесах, которое позволяло ему передвигаться, не прилагая усилий. За спиной старика-маркиза ждал приказаний бесстрастный, непроницаемый Матеу. Маркиз, пользовавшийся славой самого бесцеремонного аристократа в Барселоне, при виде новоприбывших побряхтел и ткнул его честь в живот концом трости, с которой никогда не расставался:

– Ну как оно там, дон Рафель?

– Превосходно, сеньор маркиз.

Супруги склонились в глубоком поклоне.

– Ступайте обо мне сплетничать, – указал он в сторону прочих своих гостей, поговорив с четой Массо несколько секунд, – мне пора с другими здороваться.

Повинуясь, супруги направились к одному из кружков, чтобы присоединиться к общему разговору. Судя по резкой перемене темы, судачили там как раз о них. «Добрый вечер, барон, баронесса, ваша честь, дон Рафель», улыбки, приветствия, целование рук, вздохи, «как поживаете?»; «Вы не знаете, а удостоит ли нас своим присутствием генерал-капитан?» – «Насколько мне известно, да, господин барон»; и этот мимолетный взгляд служителя Фемиды на роскошную грудь баронессы доньи Гайетаны, бывает же такое... С тех пор как вышли из моды огромные кринолины, дону Рафелю стало гораздо проще подходить к дамам поближе, чтобы заглянуть в декольте, – просто захватывающее дух приключение. У доня Рафеля вспотели ладони, как случалось в последнее время всякий раз, когда он оказывался в обществе доньи Гайетаны, «чтобы забыть твое личико, Эльвира, бедняжка».

– Я слышал, – говорил барон де Черта, не имевший представления о прелюбодейных мыслях его чести, – что у этой женщины изумительный голос.

И его глаза беспокойно забегали, как будто он искал чьей-то поддержки.

– Нужно самим поглядеть и решить, – высказалась в защиту объективного суждения донья Гайетана из глубин своего музыкального невежества.

– Или, скорее, нужно послушать, – с поклоном проговорил дон Рафель, скрывая дрожь в голосе.

Все вокруг залились грациозным смехом и несколько оттаяли.

Дворецкий продолжал объявлять имена, гости снова шептались; известный ученый дон Жасинт Далмасес, который постоянно вращался в кругах, ему не подобающих, склонился в скромном поклоне; а поцелуй руки красивой дамы опять продлился на мгновение дольше необходимого, и судья снова вздохнул, поскольку бюст любой из женщин казался ему гораздо более многообещающим, чем у доньи Марианны. «Ах, Эльвира! Как так случилось?...» И раздумья доня Рафеля разбились на тысячу осколков, поскольку доктор Пере Малья, признанный

всезнайка, присоединился к их кружку и сообщил, что ему доподлинно известно, что де Флор выступала перед самым Керубини⁹ и тот был в восторге от ее таланта.

– Я же вам говорил, – торжествовал де Черта, – великая певица.

– Сгораю от желания ее услышать, – соврал дон Рафель, который в тот вечер, раз уж ему категорически не дали поглядеть на звезды, был скорее равнодушен ко всему, кроме персей, особенно принадлежащих молодой баронессе.

– Кстати, – нетерпеливо топнула каблуком какая-то важная персона, – когда же начнется концерт?

– Когда старикашке Ренау заблагорассудится, – ответил де Черта, и дамы благосклонно улыбнулись.

А дон Рафель подумал: «Какой же ты болван, Черта. Ты ее недостойн». Все помыслы его чести, хоть он и слышал, о чем говорят окружающие, были о белоснежных зубах и влажных, улыбчивых губах доньи Гайетаны, чьим очарованием дон Рафель проникался с каждым днем все больше. В минуты искренности перед самим собой судья злился, что эта женщина с такой легкостью заставляет других мужчин улыбаться ей на глазах у косоглазого тупицы-мужа. «Гайетана, любовь моя, ради тебя я готов на безумства».

– Не сомневаюсь, – служитель правосудия украдкой обернулся, прикрывая нос кружевным платочком, – что дедуля Досриус хочет раздражить нас, прежде чем бросить нам... лакомый кусочек.

– Ну уж нас-то ему раздражить не удастся, – заявил барон.

Все они отошли к стене, поближе к окнам, выходившим на улицу Ампле. Там, под портретом второго в роду маркиза Досриуса, изображенного под ручку с пышной и, по всей видимости, необъятной сеньорой, единолично символизирующей всю бурбонскую монархию, кавалеры оставили дам, которые устроились на стульях и стали беседовать о платьях и прическах, и вернулись в центр гостиной, куда их привлекло замечание доктора Далмасеса, самого образованного и неблагонадежного человека во всей компании: никаким дворянским титулом он похвастаться не мог, но постоянно вращался в аристократических кругах, ходили слухи, что он симпатизирует французским революционерам или каким-то там энциклопедистам, а «кстати, говорят, что он еще и, эт-самое, масон, уж я-то точно знаю». Итак, доктор Далмасес, размышляя вслух, заявил, что нет инструмента прекраснее человеческого голоса.

– Данного нам Богом, – уточнил дон Рафель.

– Без всякого сомнения, дон Рафель, – согласился доктор Далмасес, который не особенно верил в Бога, но диспут затевать не хотел. – Вы были на концерте в День Всех Святых?¹⁰

А вот и нет, оказалось, что никто на этот концерт не ходил, потому что в театр слушать музыку ходит лишь тот, кто ею живет и дышит; а у маркиза де Досриуса, или маркиза де Картели, или даже в самом дворце музыка звучала для тех, кого занимало совсем другое. Доктор Далмасес понял, что ему придется рассказывать о концерте, состоявшемся в День Всех Святых, донельзя равнодушной публике:

– Две пьесы месье Керубини и струнный квартет, понимаете, а потом пьеса некоего ван Бетховена, который, видимо, учился у Гайдна¹¹, потому что очень мне его напомнил. Кстати, вам знакомо это имя?

⁹ *Луджи Керубини* (1760–1842) – итальянский композитор, педагог и музыкальный теоретик, главный представитель жанра «опера страха и спасения», большую часть своей жизни проведший во Франции (с 1788 г. до кончины).

¹⁰ *День Всех Святых* – один из десяти главных праздников, имеющий ранг великого торжества. В этот день церковь вспоминает всех святых, прославивших Бога, – не только тех, чьи имена числятся в церковном календаре, но и тех, кто известен одному Богу. Отмечается 1 ноября.

¹¹ Людвиг ван Бетховен (1770–1827) действительно некоторое время брал уроки у Франца Йозефа Гайдна (1732–1809) – австрийского композитора, представителя Венской классической школы, одного из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Встреча музыкантов состоялась в Вене в 1792 году.

- Чье? – рассеянно спросил упустивший нить разговора дон Рафель.
- Этого голландца, ван Бетховена?
- Нет. Первый раз слышу.

Хирург доктор Малья, проводив супругу на отведенное ей место, присоединился к ним с любезной улыбкой. Улыбка эта стала еще шире, когда он поклонился всеми ненавидимому председателю Аудиенсии. Поскольку, без сомнения, во всем этом кружке никто другой не внушал большую зависть, ненависть и страх: дон Рафель был неимоверно влиятелен, несговорчив и продажен, а на этих трех качествах обычно и строилось резюме власть имущих в те благословенные годы. Продолжая улыбаться, доктор Малья беззвучно поприветствовал остальных, после чего ему пришлось признать, что он, честно говоря, слыхом не слыхивал ни о каком ван Бетховене. Не слыхал о нем никто, и доктор Далмасес, который гораздо лучше их всех разбирался в музыке, объяснил в заключение, что этот голландец во многом хорош, но в нем чувствуется подражание гениям, вроде Керубини или Сальери¹², и все были полностью согласны: «Куда ему, этому Фанбехоффену, или как там его зовут».

На самом деле к доктору никто особенно не прислушивался. В этот момент в гостиную вошел генерал-капитан, губернатор провинции, и взгляды всех присутствующих, включая дону Рафеля, будто дикие осы, устремились на него, с завистью и страхом. Вечер начинался вразравду. Гости заполнили зал, и четверо или пятеро слуг расставляли стулья и диваны таким образом, чтобы на них могли удобно устроиться все тридцать с небольшим приглашенных. Подъехав к фортепьяно цвета зеленого яблока, в обществе разодетого в пух и прах губернатора, маркиз де Досриус постучал тростью об пол, чтобы все замолчали. В глубине зала подпирала стенку несколько беспокойных, наряженных в странные костюмы юнцов, не удосужившихся даже для приличия надеть парики, – ужасное зрелище. Юноша с тревожным взглядом и светлыми кудрями, к примеру, выглядел в своей одежде крайне незavidно, почти как мастеровой. Но очевидно, попасть сюда он мог только благодаря своему спутнику, низенькому, в элегантном костюме, черноволосому и горбоносому молодому человеку, со свертком в руке. Кудряш подтолкнул приятеля локтем:

- А ты почему не играешь сегодня, Нандо?¹³ Давай я объявлю, что ты сыграешь?
- Даже не вздумай.

В дверном проеме с другой стороны зала появилась крупная, неохватная, грандиозная женщина, что подтверждалось не столько ее конкретными размерами, сколько величественным видом и осанкой. Мари дель Об де Флор, Орлеанский соловей, сделала глубокий реверанс маркизу *aussi grincheux*¹⁴, потом еще один, строго отмеренный, – губернатору и слегка поклонилась всей прочей публике. Чтобы всем было ясно, кто тут платит. В этот момент многие заметили, что за спиной необъятной сеньоры нарисовался словно из ниоткуда незаметный человечек, невзрачный, одетый во все серое, с окладистой бородой, неуверенной походкой и печальным взглядом, которого, хотя об этом никто и не знал, звали месье Видаль. Он тихонько примостился перед фортепьяно с очевидным намерением ожидать приказаний. Гости маркиза понемногу перестали хлопать, и певица, пробурчав пианисту нечто угрожающее, улыбнувшись

¹² Бетховен высоко ценил творчество Керубини, а Антонио Сальери (1750–1825) – одного из самых известных и признанных композиторов своего времени, автора более чем 40 опер, многочисленных инструментальных и вокально-инструментальных сочинений, на протяжении 36 лет занимавшего в Вене пост придворного капельмейстера, – выбрал себе после Гайдна в учителя. У Сальери Бетховен обучался в период с 1792 по 1795 год. Своему наставнику посвятил три скрипичные сонаты и ор. 12, опубликованные в Вене в 1799 году.

¹³ *Нандо* – уменьшительно-ласкательный вариант испанского имени Фернандо, соответствующего каталонскому имени Ферран. Так Андреу обращается к своему другу, каталонскому композитору и классическому гитаристу-виртуозу Феррану Сортсу (в испанском варианте произношения – Фернандо Сору; 1778–1839), виднейшему представителю романтизма в каталонской классической музыке и автору оперы «Телемах на острове Калипсо».

¹⁴ Довольно ворчливому (*фр.*).

публике и деликатно прокашлявшись, набрала воздуха и закрыла глаза, чтобы вобрать в себя первые такты вступительной мелодии.

Большую гостиную дворца маркиза де Досриуса наполнила музыка. Ее волшебство заволокло гостей. Казалось, они застыли на полотне Тремольеса¹⁵ или Байеу¹⁶: стоящие мужчины, те, кто постарше, в париках, а кто помоложе, с непокрытой головой, сидящие женщины; все взгляды устремлены в одну точку. Перси девушек полны томлением, глаза чуть увлажнены. Маркиз, слегка приподнявшись в инвалидном кресле, оперся на трость с серебряным наколочником. Генерал-капитан, в зачатке подавив зевоту, погрузился в расчет окружности бюста певицы. В глубине зала, неподалеку от юношей, подпиравших стену, преображенный неподвижностью и барочной ливреей лакей казался высеченным из камня. На подзеркальнике, возле двери, своей очереди ждали блюда с закусками и напитками. А возле большого окна Мари дель Об де Флор, небрежно облокотившись одной рукой на фортепьяно и прижав другую к груди, как будто с тем, чтобы не дать сердцу вырваться в гостиную в погоне за любовью, выводила великолепное «*Je parlerai de mon tourment*»¹⁷ таким голосом, какого многие годы не слыхали в Барселоне. Маэстро Видаль касался клавиш ласково и страстно. В его глазах стояли слезы, кто знает, по причинам ли строго профессионального характера, или же оттого, что знойный и чувственный голос волновал его так же, как и кудрявого юношу по имени Андреу. Андреу всегда казалось, что за волшебством чудесного голоса скрывается любовный пыл. Околдованный звуками арии, он был уже влюблен в де Флор. Андреу сжал руку друга, а тот улыбнулся: он знал своего приятеля как облупленного и уже догадался, что с ним творится.

По окончании последней арии концерта Мари дель Об де Флор наступило удивленное, неудовлетворенное молчание. Гости ждали, когда маркиз де Досриус начнет хлопать, но тот, во власти отзвуков волшебного голоса, словно застыл на месте, с горящим взглядом опершись на свою трость. Музыка была единственной силой, способной околдовать обычно бесцеремонного аристократа. Сидевший подле него губернатор, который начал клевать носом еще между четвертой и пятой арией, делал над собой сверхчеловеческое усилие, чтобы не взять инициативу на себя; хоть он и был среди присутствовавших самым значительным лицом, сколько бы маркизов, графов и баронов в нем ни собралось, поскольку генерал-капитан, так сказать, – всегда Важная Персона, Персона с Большой Буквы, все же, согласно этикету, первым аплодировать полагалось амфитриону, и губернатор следовал протоколу, словно указу. Де Флор, не особенно привыкшая к тому, чтобы вокруг нее царил молчание, в некотором недоумении вздохнула, чтобы дать понять, что концерт окончен. Вздох певицы вывел маркиза из оцепенения. Он ударил тростью об пол, и все с облегчением начали хлопать. Ох, нелегко же им дали злосчастные три-четыре секунды.

– Что скажешь, Нандо?

– Еще хочу.

– Так предложи подыграть ей на гитаре.

– Что ты, маэстро Видаль может обидеться. Да и фортепьяно тут гораздо уместнее.

Де Флор снова склонилась в реверансе, послала тридцать воздушных поцелуев, набрала воздуха и на невероятной смеси французского, итальянского, перенятого у месье Видаля каталанского и недоученного испанского языков объявила, что ей хотелось бы исполнить какой-нибудь *шансон*¹⁸ под аккомпанемент даровитого *композиторе локале*¹⁹ Фердинанда Сортса,

¹⁵ Имеется в виду один из братьев Тремольес-и-Роч, Мануэль (1715–1791) или Франсеск (1722–1773). Оба они были известными каталонскими художниками.

¹⁶ *Франсиско Байеу-и-Субиас* (1734–1795) – испанский художник, придворный живописец Карла III, профессор, а позднее директор Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо; писал в неоклассическом стиле, в основном на религиозные и исторические сюжеты.

¹⁷ «Я мук своих не утаю» (*фр.*).

¹⁸ Песню (*фр.*).

присутствующего сегодня в зале. Люди беспокойно переглянулись, поскольку никто из них понятия не имел, кто такой этот «даровитый *композиторе локале*» Фердинанд Сортс. Генерал-капитан переспросил, о чем там толкует мадам: «Я не особо силен во французском». На что маркиз де Досриус пожал плечами и нетерпеливо постучал тростью об пол.

Не успело общее недоумение смениться ропотом, как Андреу подпрыгнул и вскричал: «Он здесь, он здесь! – и подтолкнул друга локтем. – Нандо, о тебе же речь ведут!» Сортс еще и глазом не моргнул, как Андреу уже схватил его под руку и потащил прямо к певичке. Публика заахала: «Ах да, младшенький из семейства Сортс, ну-ну. „Даровитый *композиторе*“? Да он же соплик еще, ах, ты смотри. Он же вроде уезжать куда-то собирался, этот паренек?» Де Флор увидела, что к ней направляются два юноши, и диве тут же приглянулся кудрявый блондинчик, сушая конфетка. Однако месье Фердинандом Сортсом оказался его приятель, чернявый и худощавый страшила с бакенбардами. Да и имя у него было какое-то другое, а вовсе не Сортс. Орлеанский соловей скрыла разочарование за любезным реверансом. Позволив растроганному Феррану Сортсу облобызать ее ручку, дива прислушалась к мужественному, звонкому, чарующему голосу мальчика-конфетки, пытавшегося разъяснить, что композитора зовут Ферран Сортс. Де Флор беззастенчиво оглядела Андреу с ног до головы и сделала вид, что он ей неинтересен. Многие из присутствовавших недовольно поморщились при виде никому не знакомого кудрявого юнца, который и одеться-то прилично не в состоянии («и не говорите: неизвестно еще, как его вообще сюда пропустили»), а расхаживает по всему залу, будто он у себя дома. Несколько рассеянных сеньор похлопали «даровитому *композиторе*», окончательно успокоившись: «Ах да, это же Нандо Сортс, сразу и не поймешь эту даму. Так бы и сказала». А де Флор спросила пианиста:

– Вы не возражаете, месье Видадь?

– Вовсе нет, – давась желчью, ответил музыкант, вставая со стула.

– Для меня большая честь... – пробормотал Сортс, крайне взволнованный. И передал сверток Андреу. – Не потеряй, я его должен кое-кому передать.

Андреу сжал его локоть:

– Давай, Нандо, покажи им, – и, к вящему неудовольствию де Флор, отошел к стене в глубине зала, со свертком, хранить который поручил ему друг.

Сортс сел за фортепьяно, и Мари дель Об де Флор объявила: «*D'abord, l'amour*»²⁰, ничуть не сомневаясь, что любой, кто берется ей аккомпанировать, должен знать весь ее репертуар наизубок. Маэстро Видадь, которому, хотя виду он и не подал, такой оборот, без сомнения, показался весьма забавным, указал ему на ноты, лежащие на пианино. И чтобы оказать ему еще более ценную помощь, подмигнул и заговорщицки прошептал:

– *Adagio, molto lento*²¹.

Делая вид, что присаживается поудобнее, Ферран Сортс успел пробежать глазами первую страницу арии и подумал, что совет пианиста – полный абсурд. «Индюк напыщенный», – пробормотал он и бодро и уверенно заиграл *vivace*²². К пятому такту он успел удостовериться, что был прав. Все прошло как по маслу. Возможно, даже лучше, чем с маэстро Видалем. По окончании арии Сортс встал, и де Флор расцеловала оторопевшего юношу в обе щеки: на самом-то деле поцелуи предназначались его другу. Пока гремели аплодисменты, Сортс отошел в уголок. Рядом с ним стоял месье Видадь, и молодой человек воспользовался случаем, чтобы послать музыканта ко всем чертям.

– Пардон? Что вы сказали?

¹⁹ Местного композитора (*ит.*).

²⁰ «Сперва любовь» (*фр.*).

²¹ Спокойно, очень медленно (*ит.*).

²² Очень живо (*ит.*).

– Катитесь вы куда подальше.

Не успел пианист отреагировать, как де Флор уже снова позвала к себе юного «композиторе локале», чтобы публика отблагодарила его бурной овацией.

– Вы славный музыкант, *mon cher*²³, – сказала она.

Слуги меняли уже далеко не первую из двухсот свечей в двадцати пяти канделябрах зала. Мари дель Об де Флор смеялась, а за ней, как привязанные, ходили Сортс-младший и Андреу, не сводивший с певицы благоговейного взгляда. Все трое, в обществе молчаливого пианиста, доктора Далмасеса и еще пары гостей, пробовали изысканные кушанья, которыми маркиз потчевал присутствующих, чтобы всем стало ясно, что он способен предложить на своем ужине не менее аппетитные закуски, чем маркиза де Поластрон. Мари дель Об де Флор один за другим клала в рот горячие крокеты и пожирала глазами взволнованного Андреу, пока приятель его тщетно разыскивал среди гостей адвоката Террадельеса, «а ведь тот ни одного концерта не пропускает». В конце концов юноша смирился с тем, что так ему и придется таскать с собой сверток весь вечер.

Генерал-капитан, глубоко заинтересованный декольте певицы, тщательно продумал, как лавировать с бокалом от одной группы к другой, и разработал осмысленную и четкую стратегию. Однако было ясно, что де Флор его избегала и предпочитала ему общество этого ничем не примечательного, тусклого, безынтересного и лишенного энергии юнца. Поскольку закатить скандал губернатор не мог, важнейшему представителю двора Бурбонов в Каталонии пришлось смириться с диктатом салонного этикета. Ему, рафинированному любителю экзотических женщин, придется не только обойтись без парижаночки, но и с заинтересованным видом выслушивать петицию какого-то нахала, который, с бокалом в руке, все твердил: «Соблаговолите, ваше высокопревосходительство...» Делая вид, что раздумывает над ответом, генерал-капитан поклялся себе, что завтра или, в крайнем случае, послезавтра лягушатница²⁴ будет лежать у его ног. Нет, лучше у него в постели. Раз уж решил, так и будет, «ишь распустились».

В то же время его честь дон Рафель Массо испытывал иное затруднение. Необходимость помочиться возникла у него еще в середине концерта, а удовлетворить ее все не удавалось. Следуя путаным указаниям слуги, он забрел в темный коридор, в конце которого почуял спасительную вонь. Смерд доносился из плохо освещенной комнаты с дюжиной горшков, стоявших там и сям на полу. Трясущимися руками слугитель Фемиды разобрался со сложной системой подштанников, и наконец ему удалось утолить насущную потребность. Успокоившись, он некоторое время позевал с членом в руках, как будто царивший в комнате резкий запах наводил его на размышления. В последнее время, так часто, что это уже вредило здоровью, дон Рафель задавался вопросом, счастлив ли он на самом деле. И всегда приходил к скорее печальным выводам. Когда жизнь по прошествии скопления удач и поражений приносит человеку мир и спокойствие, можно заключить, что ты счастлив; но если настороженность, тревога в сердце, беспокойство о том, как бы разоблачить врага, который, вне сомнения, поджидает тебя, таясь за углом, становятся обычным делом и руководят тобой каждую минуту, это знак того, что счастье растаяло, как дым, и его не вернуть, оно утрачено навсегда. Почтенный судья отряхнул член и положил конец раздумьям с несколько унылым вздохом. Пока он застегивался, в комнату вбежал барон де Черта, мочевого пузыря которого, по всей видимости, готов был лопнуть.

– Похоже, от этих песен все чуть не уписались, – провозгласил он, увидев дона Рафеля.

Тот лаконично заметил: «И не говорите», но отвернуться от беседы не удалось.

²³ Дорогой мой (фр.).

²⁴ Лягушатница – имеется в виду презрительное прозвище, данное французам из-за их приверженности к поеданию лягушек.

– Такое впечатление, что нас отсюда не выпустят, пока губернатору не удастся вдоволь поволочиться за лягушатницей.

Дон Рафель не сказал в ответ того, что ему хотелось сказать, а именно: «Ничтожество ты, хоть и дворянин, а дворянином и я когда-нибудь стану». А когда де Черта деликатно отвернулся, чтобы помочиться, на дону Рафеля накатило еще большее к нему презрение, до чего же недостойн сей мерзавец своей жены; некоторые вещи в этом мире совершенно неправильно устроены, «ах, Гайетана моя!». Прелюбодейные мысли председателя Аудиенсии провинции Барселона и полные ужаса глаза Эльвиры, на мгновение представшие перед ним, отвлекли его, и он даже не расслышал, какой уверенной, веселой, а главное, бездумной струей мочился барон де Черта.

– Вы ничего не знаете о жизни, – заявила Мари дель Об де Флор, задирая юбки, расстегивая подвязки и так беззастенчиво стягивая белый чулок, что Андреу усмотрел в этом нечто непристойное.

– А вы?

Она только рассмеялась ему в ответ. Потом застыла в той же позе, с голой ногой, упираясь носками в табурет, и шаловливо погрозила пальцем Андреу.

– Как вы думаете, сколько мне лет? Ну-ка, скажите.

Андреу почесал кудрявую шевелюру, откуда мне знать, мадам... я вовсе не умею угадывать, и озадаченно улыбнулся, думая про себя: «Осторожно, Андреу, не оплошай». Но де Флор не заботило затруднение юноши. Она поймала его в сети, он ей нравился и уже очутился в ее гостиничном номере. Почему бы не потребовать у него ответа.

– Давайте-ка без уверток! Сколько, по-вашему, мне лет? Смелее. И не тревожьтесь. – Она спустила ногу с табурета и закрыла глаза, двигаясь по направлению к юноше. – Мне не в диковинку горькие разочарования. – Она взяла его за руки. – Сколько?

– Да откуда же мне знать, солнце мое!..

– Смелости не хватает?

– Тридцать. – Он произнес это с закрытыми глазами, в плену собственной лжи.

Мари дель Об де Флор вздохнула и дважды расцеловала его так звонко, что по звуку поцелуев он догадался, что этой сеньоре с ангельским голосом, скорее всего, далеко-далеко за сорок.

– Хочешь, перейдем на «ты»? – решил он.

Смех певицы был похож на щебетание канарейки. Она повернулась к нему спиной. Обращаться друг к другу на «ты» – почти то же самое, что и раздеваться.

– Помоги мне расшнуроваться, пожалуйста.

Он весьма ловко с этим справился и заработал еще один поцелуй. В платье, спущенном до талии, в корсете, готовом лопнуть под напором груди, Мари дель Об де Флор, Орлеанский соловей, повернулась к нему и подошла вплотную:

– А теперь я тебя раздену. Что это такое?

– Медальон.

– Сними его.

– Я его никогда не снимаю.

– Сегодня снимешь. Я хочу всего тебя раздеть.

И Андреу снял медальон, подарок Терезы.

Казалось, эта женщина разжигает страсть силой воображения, потому что по выражению ее лица было ясно, что просто раздеть Андреу – для нее уже высшее наслаждение. В одних подштанниках Андреу почувствовал себя неудобно, и она это угадала.

– Давай я их сниму с тебя, *мон шер*.

Снимая подштанники, она наклонилась к нему и нежно проверила документацию.

– А ты... ты не будешь раздеваться? – еле выдавил из себя Андреу.

– Буду... но я люблю, когда рядом со мной обнаженный мужчина. – Она вздохнула. – В гостиных такого не увидишь...

– Ах! – дерзнул Андреу. – Во Франции...

– Во Франции, во Франции, – презрительно передразнила она. – Не верь всему, что говорят о Франции.

Она обняла Андреу за талию и подвела его к большому зеркалу, стоявшему у изножия кровати. Они застыли перед ним, как будто изображенные на этюде Тремультеса.

– Тебе не хотелось бы, чтобы нас так изобразили, *mon chou chou*?²⁵

– *Mon quoi*?²⁶ – застеснялся Андреу, потому что начал возбуждаться, а она и довольне-хонька.

– *Mon quoiduoi*?²⁷, – сказала певица и начала искусно ласкать его. – Раздень меня, «Ква-ква»²⁸, – велела она.

Они не потушили ни одного из трех зажженных в комнате светильников, потому что мадам в эту ночь ласкала любовника и телом, и взглядом. «Ква-ква» получил возможность удостовериться, что Мари дель Об де Флор не только изумительная певица с ангельским голосом, нежным и сильным, но и виртуозная любовница.

– Кто этот сопляк?

– Кого вы имеете в виду, месье Видадь?

Господин Аркс, помощник театрального импресарио, в обязанности которого входило сделать пребывание артистов в Барселоне как можно более приятным, чувствовал себя крайне беспокойно, так как был весьма наслышан о дурном характере пианиста, прожигавшего жизнь, сопровождая де Флор по слякоти путей Господних и дорог его величества.

– Этого молокососа, который сегодня вечером уселся играть вместо меня.

– А, Нандо Сортс! Это сеньор Жузеп Ферран Сортс. Композитор. Превосходный гитарист.

– И пианист.

Месье Видадь осушил бокал, и господин Аркс немедленно налил ему еще, чтобы не встречаться с ним глазами.

– У вас в течение года много гастрольных поездок?

– А ведь молодой еще. Сколько ему? Двадцать?

– Кому, месье Видадь?

– Мальчишке этому. Сортсу.

– Не могу сказать. Но да, он молод. А куда вы направитесь по окончании гастролей в Барселоне?

– Сразу видно, он большой знаток музыки. Вы говорите, он композитор?

– Мм... Да, да... Сочинил много пьес для гитары... И несколько лет назад написал оперу... Не помню, как называется, чужеземные какие-то имена, понимаете?

– Ах как интересно!.. Несомненно, мнит себя новоиспеченным Моцартом.

Он поднял бокал и залпом выпил его. Аркс воспользовался этим, чтобы переключиться на другую тему:

– Ах, месье Видадь, как бы мне хотелось побывать в Париже!

²⁵ Мой голубчик (*фр.*).

²⁶ Мой кто? (*фр.*)

²⁷ Мой кто-кто (*фр.*) – по-французски «кто-кто», которым певица передразнивает Андреу, звучит как «ква-ква».

²⁸ «Ква-ква» – см. примечание выше.

– Бьюсь об заклад, что с этим юнцом каши не сваришь!.. По всей видимости, он такого о себе возомнил!

– Ах, Париж!..

И Аркс снова наполнил бокал месье Видаля, взгляд которого уже несколько остекленел. И осмотрелся по сторонам. Все столики были пусты, кроме того, за которым они сидели. В зале, расположенном рядом с вестибюлем гостиницы «Четыре державы»²⁹, царила тишина. Официант, скрывавшийся за непомерными, немислимыми усами, тушил светильники, оставляя зажженными лишь те, что стояли от них неподалеку. Время от времени с улицы заходили постояльцы. В окна зала было видно, как у них изо рта идет пар, пока они отряхивают с башмаков холодную уличную грязь. Месье Видадь провел некоторое время в молчании, сосредоточенно разглядывая дно бокала, как будто искал там истину.

– Мне осточертело играть на фортепьяно для этой шлюхи.

– Простите?

– Вот мы с вами, – провозгласил пианист, – все пьем да глотаем желчь, так ведь? А вы знаете, где сейчас эта... эта... – с издевкой продолжал он, – мадам?.. Певица великая? – Он потряс бокалом над головой и уставился на Аркса.

– Я... Не могу знать. Мне и в голову не приходило об этом думать.

– У себя в комнате шашни крутит.

– Мм...

– А знаете ли с кем? Со своим Сортсом, музыкантом ярмарочным. – Тут он с размаху треснул пустым бокалом по мраморному столу.

– Да откуда вы знаете? Разве она не...

– Откуда я знаю? – с горечью расхохотался месье Видадь. Он откинулся на спинку стула и погрозил пальцем бедняге Арксу, которому совершенно не нужны были никакие сложности. – Де Флор – мастерица шашни крутить, господин хороший. И всегда ищет кого посвежее да помоложе, новизны и разнообразия. – Он снова наклонился вперед и с таким видом взял бокал, как будто намеревался его разбить. – На таких старикашек, как мы с вами, она, тьфу, и смотреть не станет.

Господин Аркс подумал, что наступил момент инициировать стратегическое отступление. Хуже всего было то, что ему строго-настрого велели ни на шаг не отходить от музыкантов, пока они не запрут у себя в комнатах. А месье Видадь уже достаточно наклюкался, чтобы отправиться напрямиком на боковую.

– Она от них в постели сил набирается, чтобы петь, – продолжал теоретизировать пианист.

И после этого принципиального заявления с трудом встал. Господин Аркс с облегчением последовал за ним. Но все было не так просто.

– Хотите, пойдем посмотрим? – Месье Видадь указал на потолок вестибюля. – Хотите удостовериться, что сейчас она лакомится... простите... – он совершенно бесцеремонно отрыгнул, – в том смысле, что она сейчас в постели с этим мальчишкой Сортсом?.. – Он помотал головой. – Бьюсь об заклад, лучший концерт в мире играют. – И сам же расхохотался над своей шуткой.

Господин Аркс воспользовался случаем, чтобы решиться на контратаку:

– Месье Видадь, да верю я вам, верю, садитесь, посидите, что вы! Куда вы собрались с такой прекрасной дружеской попойки?

²⁹ Гостиница «Четыре державы» («Куатро Насьонес») – в настоящее время недорогой четырехзвездочный отель на бульваре Рамбла; был в XVIII веке одним из великолепнейших и самых знаменитых гостиничных заведений Барселоны, особенно ценным аристократами, бежавшими из революционной Франции. Оставался популярным в течение долгого времени: здесь останавливались Стендаль, Жорж Санд и Шопен, Альберт Эйнштейн и многие другие знаменитости.

Он усадил музыканта и налил ему еще бокал, не дожидаясь ответа. Но пианист опять встал со стула, в изумлении, и указал на дверь зала, будто ему привиделся призрак. Призрак явился с улицы и отряхивал грязь с башмаков у входа в вестибюль. Это был Сортс-младший. Он увидел в окно, что месье Видаль выпивает вдвоем с господином Арксом в пустом зале, и решил составить им компанию. Он вошел в зал, потирая руки. За несколько шагов до стола, за которым сидели полуночники, Сортс в изумлении остановился. Месье Видаль указывал на него, как будто в чем-то обвиняя:

– Гляди-ка, гляди-ка! Видали? Что я вам говорил?

Он пошатывался, пытаясь продвинуться по направлению к Сортсу.

– Добрый вечер, господа, – произнес Нандо.

Он хотел было спросить, где Андреу, но месье Видаль дохнул ему в лицо винным перегаром.

– Ну и как? Ублажили ненасытную? – Старик театрально сделал шаг назад, чтобы полюбоваться произведенным впечатлением. – Уняли жар не в меру воспламененного тела, месье?

Казалось, эта речь его обессилила, и пианист свалился, опустошенный, к себе на стул. Ферран Сортс огляделся по сторонам, потом вперил вопрошающий взгляд в господина Аркса. Глаза его молчаливо осведомлялись: Аркс, чего ж он чудит-то, этот французишка? Я так понял, допился до зеленых чертей? Вы хоть знаете, о чем он толкует? Французишка, приземлившись на стул, по-видимому, обрел утерянную способность соображать; он начал говорить размеренно, словно его речь была плодом глубоких размышлений:

– А вы знаете, какое изумительное у нее тело?.. Я как-то раз случайно ее видел обнаженной... В Кремоне было дело... Вы обнимали ее когда-нибудь? Она отдалась вам сегодня?

– Если речь идет о даме, которой мы с вами подыгрывали на фортепьяно, – состроил весьма обиженную мину Сортс, – я больше не видел ее с тех пор, как мы вышли из дворца маркиза. Я ходил домой переодеться, потому что уезжаю нынче. Я только что из дома.

– Враки это все! Зачем вы тогда явились сюда, в гостиницу?

– Зашел подождать друга. И я не позволю...

– Ладно-ладно, – перебил его француз, широко раскрыв объятия. – Я удовлетворен вашими объяснениями. Садитесь. Давайте я вас угощу...

Сортс поглядел на господина Аркса, пожал плечами, положил сверток, который держал в руках, на стол и сел.

– Это скорее вы должны были бы дать мне объяснения, а не я, – уточнил он.

– Я в стельку пьян. Мне тут сказали, что вы сочинили оперу.

– «*Tellemaco nell'isola di Calipso*»³⁰, – произнес Сортс с ноткой гордости в голосе. От обиды и следа не осталось.

– Вот видите? – подтвердил Аркс, успокоенный таким поворотом разговора. – Вот они, чужеземные имена.

– Моцарт заменил итальянский язык немецким.

– Но не я, – торжественно ответил Сортс. – Итальянский – язык оперы.

– Вы хотите сказать, что Моцарт допустил ошибку?

– Есть в мире и другие композиторы, кроме него. Лесюэр³¹, положим... или Керубини...

– Керубини! Король Парижа! Не смешите меня, месье Сортс! Ваш Керубини – масон, и, глядите-ка, он хоть и итальянец, а сочинил оперу на французском.

– Да вы что?!

³⁰ «Телемах на острове Калипсо» (ит.) – опера Жузепа Феррана Сортса (Фернандо Сора), написанная им в 1796 году, в возрасте 18 лет, и поставленная в Театре Святого Креста (Санта-Креу, или, в испанском произношении, Санта-Крус).

³¹ Жан-Франсуа Лесюэр (1760–1837) – французский композитор и музыковед, дирижер, музыкальный критик и педагог, профессор парижской консерватории, автор опер и духовных произведений.

– «*Medée*»³². Позорище.

Сортс промолчал и налил себе из бутылки, стоявшей посередине стола. Наполнив бокал, он поглядел на собеседника:

– За что вы меня так невзлюбили, месье Видаль?

Пианист поднял на него глаза и улыбнулся. Официант, прежде ходивший по залу и чем-то гремевший, уже ушел. Все светильники погасли, кроме того, что стоял возле их стола. По вестибюлю наконец перестали снова туда-сюда постояльцы, потому что час для добрых людей уже поздний. На гостиничной стойке безмятежно храпел человек в надетом набекрень парике, изъеденном молью, – ночной сторож. Тишину в гостинице «Четыре державы» нарушали только трое засидевшихся в зале полуночников.

– Я расскажу вам одну историю, которая приключилась со мной почти сорок лет тому назад, – доверительно проговорил месье Видаль, не отвечая на вопрос Сортса. – Вам знакомо имя месье Жан-Мари Леклера?³³

На мгновение в воздухе повисла тишина. Аркс и Сортс не знали, к чему он клонит, а пианист продолжал пить.

– Нет, я никогда о нем не слышал, – ответил господин Аркс. – А вы?

Сортс покачал головой.

– Разумеется, разумеется! Что я себе вообразил? – Месье Видаль залпом осушил бокал и устался в потолок, словно хотел продырявить взглядом имевшую над ним власть женщину. – А вы знаете, почему она путешествует в одиночестве?

Оба его собеседника растерянно переглянулись: Леклер? Де Флор?

– Грязная потаскуха нанимает к себе уже довольно пожилых компаньонов, а затем избавляется от них при первом удобном случае. Она не хочет, чтобы кто-либо был свидетелем ее... – Он положил руку себе на член и устался на Аркса и Сортса. – В общем, вы меня поняли.

Месье Видаль снова поднялся со стула. Теперь он пошатывался еще сильнее. С бокалом в руке он попытался пройти несколько шагов: пьян, как фортепьян.

– Я маленький был, совсем сопляк. Еще не пресмыкался, как последняя тварь...

– Ну что вы... – попытался возразить Сортс.

Но месье Видаль не дал ему посочувствовать. Он хотел побыстрее продолжить рассказ.

– В ту пору я учился музыке. – Он поднял бокал. – Ах, годы учения; ах, золотое времечко, когда мы постигаем тайны жизни... ведь после... – Он осушил бокал за здоровье «золотого времечка», изо всех сил треснул по столу, отчего ночной сторож в вестибюле подскочил на стуле и на секунду перестал храпеть, а затем сглотнул слюну и снова погрузился в сон. – Засранка-революция все судьбы нам переломала, – продолжал месье Видаль. Он ткнул пальцем в направлении Сортса. – Мне только одно стало ясно: жизнь – скука. Понимаете? Скука!

– И что же вы хотели нам рассказать про господина... господина... – помахал в воздухе пальцем Аркс.

– Леклера?

– Да.

– Я видел, как его убили. – Из полубессознательного состояния пьянчуги месье Видаль полюбовался эффектом который произвели его слова. – Его убил из зависти бездарный музыкант, который не мог простить ему, что он создал столько прекрасных...

Он откинулся назад на спинку стула, намереваясь заказать еще вина из глубин полутемного зала. Однако вместо этого лишь с грохотом растянулся на полу. Он поднялся с помощью

³² «Медее» (фр.).

³³ Жан-Мари Леклер (1697–1764) – французский скрипач и композитор, основоположник французской скрипичной школы XVIII века. Утром 23 октября 1764 года Леклер был найден убитым на пороге своего дома. Преступление так и не было раскрыто, хотя у полиции имелось трое подозреваемых: нашедший труп садовник, жена Леклера и его племянник (именно на него указывало большинство улик).

предупредительного Аркса, с горечью напомнившего себе, что его задачей является приятное времяпрепровождение артистов. Месье Видаль отряхнул платье, чтобы избавиться от неловкости, вызванной столь нелепым падением, и снова уселся на стуле, не поблагодарив Аркса за оказанную помощь.

– Он вонзил ему кинжал в сердце – и Леклер упал как подкошенный. – Пианист театральным жестом ткнул себя в печеньку и продолжал: – Когда он уже лежал на земле, убийца вонзил ему кинжал в левую руку... – Чтобы слушателям стало понятнее, он с тем же самым трагическим видом предъявил им правую ладонь.

– А зачем ему все это понадобилось? – изумился Сортс.

– Ритуальное убийство, друг мой. Леклер слишком хорошо играл на скрипке. Понимаете? Нож в сердце – как создателю музыки и в руку – как ее исполнителю.

– Недурственно, – тупо прокомментировал Аркс. Ему хотелось только одного: сделать так, чтобы этот день закончился каким-нибудь приличным образом.

– Недурственно?! – вскричал месье. – Недурственно?! Да это гениально!

– Э? – Тут Аркс совсем растерялся.

– Этот бездарный музыкант, господин хороший, сделал нечто великое.

– Да что вы?!

– Да, да, да! Настоящее произведение искусства! Виртуозное убийство! Я уверен, что это единственное произведение искусства, которое ему удалось создать за всю свою жизнь.

Он с интересом уставился на дно бокала, словно искал в нем разрешения всех житейских вопросов.

– Произведение искусства! – повторил он, словно хотел сам себя в этом убедить. И расхохотался.

– Так ты... так, значит, ты... ты думал...

Мари дель Об де Флор расхохоталась. Ее смех, его кантилена³⁴ и колоратурность³⁵ напомнили Андреу начало арии Доринды³⁶, и это его ранило. Тут певица внезапно насупилась:

– Да что ты, право слово, ну не смеши меня!

Андреу чувствовал себя глубоко униженным. Еще полуодетый, еще любуясь этой женщиной, в которой все было сверх меры, с наслаждением позволявшей восхищаться своим телом, он понимал, что выставил себя на посмешище. Андреу опустил глаза. Де Флор воспользовалась этим, чтобы учинить ему приличествующую случаю отповедь, холодно, хлестко и безжалостно выступая в защиту свободы духа и поступков:

– Или ты возомнил, сопляк ты эдакий, что если я провела с тобой ночь, то я уже твоя?

Из пламенной речи, произнесенной в бешенстве и по-французски, Андреу ровным счетом ничего не понял. Но говорила де Флор таким тоном, что обмануться в смысле ее слов не представлялось возможным. Благоразумнее было переждать бурю...

– И предупреждаю тебя, если ты в меня влюбился, поразмысли как следует. Через три дня я уезжаю в Мадрид выступать перед королем.

Эту часть он прекрасно понял.

– А если я последую за тобой? – сказал он без особой надежды.

³⁴ *Кантилена* – широкая, свободно льющаяся напевная мелодия: как вокальная, так и инструментальная. Кроме того, термин также обозначает напевность самой музыки или манеры ее исполнения, способность певческого голоса к напевному исполнению мелодии.

³⁵ *Колоратурность* – от колоратуры (*ит. coloratura* – украшение) – совокупность орнаментальных приемов в вокальной музыке, прежде всего в классической опере, особенно итальянской и французской опере периода барокко, классицизма и раннего романтизма.

³⁶ *Доринда* – пастушка из оперы Георга Фридриха Генделя «Орландо», созданной композитором в 1733 году. В партии Доринды очевидно комедийное начало, придающее герою дополнительную карикатурность. Первая исполнительница роли Доринды Челеста Джисмонди прославилась, играя служанок в комических интермедиях в Неаполе.

– Мой «Ква-ква»!.. – Она подошла к юноше поближе и потрепала его рукой по *barbinette*³⁷. Невозможно было не прийти в восторг при виде ее гигантского бюста. – Ты очень *chouchou, mon gamin*³⁸, но в наше время такие поступки не имеют смысла. Ищи молоденьких любовниц и вскоре забудешь обо мне, как я уже почти забыла о тебе...

Она расцеловала юношу в обе щеки и прошептала ему на ушко, что благодарна за те мгновения, которые они провели вместе. Ни один из них не вспомнил о медальоне Андреу, забытом на стуле, где все еще лежала одежда певицы. Возможно, случись Андреу хотя бы невзначай подумать о Терезе, то он бы спохватился.

– Мадам, – раскланялся Андреу. – *À jamais*³⁹, – еле слышно проговорил он.

Он поцеловал ей руку, и в этот момент де Флор машинально прикрыла грудь. Не успела певица ответить, а Андреу уже вышел за дверь, чуть не плача. Он даже не заметил, как оказался на тихой темной лестнице гостиницы. У входа в вестибюль юноша дал волю слезам. Он не обратил внимания ни на ночного сторожа, спавшего на стуле, ни на огонек, благодаря которому Андреу разглядел, что в зале сидели люди, все еще не удосужившиеся отправиться спать. Андреу думал только о том, имеет ли смысл отправляться на поиски друга. То, что вначале представлялось им невинной шуткой, закончилось слезами, и ему совершенно не хотелось, чтобы Сортс забросал его вопросами вроде: «Ну как оно, Андреу, как все прошло? Что она за любовница? Ненасытная? Стыдливая? Ну же, расскажи, Андреу...» А ему бы пришлось ответить: «Даже не знаю, что и сказать, Нандо; я выставил себя на самое жалкое посмешище, Нандо. Я признался ей в любви, а она расхохоталась мне в лицо». А Нандо бы сказал: «Выходит, ты и вправду влюбился? А? Ну-ка!..» И залился бы таким знакомым ему смехом, слышать который Андреу сейчас совершенно не хотелось. А ему пришлось бы уточнить: «Откуда мне знать, Нандо: я нутром почувствовал что-то такое... Она так изумительно поет...» А Сортс, от которого, когда ему что в голову взбредет, так просто не отвяжешься, ответил бы ему: «Про песни я и так все знаю, что она их изумительно поет. Ты мне скажи, хороша ли она в постели». А ему бы пришлось ответить: «Ангельски хороша, Нандо!»

На бульваре Рамбла было темно, и Андреу, который условился о встрече с Нандо прямо напротив гостиницы «Четыре державы», принялся разгуливать туда и сюда почти вслепую. Как того и следовало ожидать, он угодил обеими ногами в грязную лужу и выругался, а Нандо все не шел. «Если он возомнил, что отправится в Малагу, не попрощавшись со мной, пусть на это даже не рассчитывает». Чуть выше, поблизости от фонтанчика Портаферрисс⁴⁰, смоляные факелы отбрасывали слабый свет. Андреу пошел по направлению к ним, привлеченный как освещением, так и присутствием ночных бабочек и мотыльков или, может быть, для того, чтобы пойти навстречу приятелю, в сторону его дома, и поскорее встретиться с Сортсом. Посреди темного бульвара Рамбла он внезапно остановился. Почему ему суждено влюбляться во всех женщин, какие попадались на его жизненном пути? Он представил себе лицо друга, когда, для того чтобы помочь ему пережить такие же тяжелые моменты, как этот, он перечислял все недостатки очередной дамы, в которую его угораздило влюбиться, и оба они помирились со смеху: «Эй, Андреу, ведь у де Флор и грудей-то нет, а?» – «Как так нет? – отвечал бы он. – Куда же они подевались?» А Нандо бы сказал: «Послушай-ка, Андреу, у де Флор вместо бюста два воздушных шара Монгольфье»⁴¹ – и залился бы смехом. Но шутник Нандо куда-то запропастился. Андреу продолжал свой путь, думая: «Посмотрим, может, я встречу Нандо на улице

³⁷ Подбородок (фр.).

³⁸ Мил, мой мальчик (фр.).

³⁹ Прощайте навсегда (фр.).

⁴⁰ Фонтанчик Портаферрисс (Железная дверь) – питьевой фонтанчик; был установлен в 1680 году в районе нынешней Рамблы и назван в честь городских ворот, которые в давние времена служили входом в древний город.

⁴¹ Монгольфье – братья Жозеф Мишель (1740–1810) и Жак Этьен (1745–1799), французские изобретатели воздушного шара, наполненного горячим воздухом.

Портаферрисс». И тогда ему пришло в голову, что влюбился он вовсе не в бюст де Флор и не во всю ее плоть, с которой совсем недавно сливался в одно целое. И даже не в ее аромат, незнакомый и волнующий. Он был влюблен в ее голос. Он влюбился в нее, теперь ему стало это ясно, когда услышал ее во дворце маркиза, в праздничном облачении. Андреу подобрал камень и с силой запустил его в темноту бульвара Рамбла. То есть получается, что он, болван безмозглый, втюрился в чьи-то голосовые связки и колебание воздуха... Юноша широко раскрыл глаза и уже не чувствовал холода: этот образ пришелся ему по душе. Он влюблен в воздух! Такое открытие достойно сонета! Дойдя до улицы Портаферрисс, он осознал, что влюблен в самое невесомое, мимолетное, бесплотное, недоказуемое, что существует на свете... В самое благородное и лирическое, что только и могло встретиться такому впечатлительному человеку, как он... Безусловно, он даже и не подозревал, что был влюблен вовсе не в де Флор, не в воздух и уж явно не в какие-нибудь голосовые связки. Андреу был влюблен в созданную им же самим метафору.

В зале гостиницы «Четыре державы» опьянение маэстро Видаля достигло своего апогея, и терпению господина Аркса пришел конец. А потому, когда месье Видаля принялся вполголоса воспроизводить певучую скороговорку Папагено⁴², господин Аркс встал из-за стола и сказал:

– Господин Сортс, все в руках Божиих, мы с вами сделали что могли; мне, – он ткнул себя в грудь, – сеньор Баньюльс поручил лично сопровождать артистов.

– Па-па, па-па, па-па! Папагено...

– Он сказал, что я обязан быть с ними до последнего, а в результате сеньора у всех на виду уволокла вашего друга в постель, пока сеньор пианист напивается у меня перед носом до зеленых чертей...

– Па-па-па-па-па-па-па!

– Что по этому поводу думает Баньюльс? Что я всю ночь буду свечку держать?

– Папа, папа, папа, Папагено.

– Баста. Баста!

Сортс встал из-за стола. Ему было немного досадно, что Андреу все никак не отлипнет от де Флор, хотя и обещал ему: «В полночь, Нандо, в последний раз пройдемся по бульвару Рамбла, идет?»

– Во сколько вы уезжаете, господин Сортс?

– Еще до рассвета.

– Папа, папа! Па-па-ге-но.

– И спать ложиться не будете?

– У меня в пути хватит времени выспаться. – Он бросил взгляд на поющего пианиста и понизил голос: – Идите домой, пока я тут. Когда Андреу спустится, мы вместе отведем его спать.

Господин Аркс вынул часы из кармана жилета, пожал плечами и отправился в гардероб за пальто. В отличие от того, что происходило в дневные часы, официанты уже не выпрыгивали из-за фикусов. В гостинице «Четыре державы» после полуночи даже ночной сторож спал крепким сном.

– Премного благодарен, господин Сортс. Доброго пути и приятного пребывания в Малаге.

– Папагено.

Они пожали друг другу руки, и Аркс поспешил ретироваться в объятия холодной ночи, довольный, что так легко отделался от тяжелого бремени месье Папагено и развратницы де

⁴² Папагено – персонаж оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта».

Флор. «Бог мой, что за люди!» Возможно, если бы господин Аркс не страдал близорукостью, он разглядел бы, что не кто иной, а именно Андреу, в двух шагах от него провалился в лужу, вскричал «дерьмо» и исчез из тусклого круга света у входа в гостиницу. А может, он его бы и не узнал. Но вышло так, что он даже не обратил на него внимания.

– Папагено.

Барселону в эту промозглую ноябрьскую ночь, ночь святого Мартина⁴³, окутал густой, плотный туман. После недели ливней дождь прекратился на денек. Грузы и пассажиры, собиравшиеся отправиться в путь в тусклом освещении последней четверти убывающего месяца, очутились в полной темноте. А когда туман уже стал полноправным хозяином города, от здания Университета до сада Святого Франсеска, от Театра⁴⁴ до пласа дель Блат⁴⁵, до спуска к улице Бория; от дворца Виррейна⁴⁶ до улицы Арженерия⁴⁷, вплоть до церкви Санта-Мария дель Мар⁴⁸ и пласа Палау; когда те считанные смоляные факелы, которые еще горели, оказались совершенно бесполезны; когда в тумане дрожали от холода моряки, державшие вахту на верхней палубе под медленный и тоскливый плеск волн о борт корабля; когда в дилижанс, отправлявшийся в Мадрид, уже погрузили баулы, чемоданы и большие надежды и Сантс, его хозяин, торопил зазевавшихся пассажиров, а кони били копытами в безудержном желании ринуться по направлению к поклонному кресту на улице Креу-Коберт; когда гора Монжуик, до которой туману добраться не удалось, равнодушно созерцала растянувшуюся у ее подножия ватную простыню, на колокольне церкви Санта-Мария дель Пи⁴⁹ три раза прозвонила Висента, и кошка на крыше особняка Фивалье вздрогнула всем телом. В густом тумане голос колокола, приглушенный, бархатный и таинственный, прозвучал как недоброе знамение. Словно аукаясь с ним, эхом на звон Висенты откликнулась Томаса с колокольни Кафедрального собора, а вслед за ним Августина – с колокольни церкви Сан-Север, а затем раздался самый нежный голос Пастушки с базилики Святых Юстуса и Пастора. И ровно через две минуты зазвонил колокол Санта-Моника, неподалеку от казармы, провозглашая то, что было уже известно всем кошкам на крышах. В этот час тишина снова воцарилась на улице Ампле: наконец разъехались запоздалые экипажи полуночников, которым никак не удавалось найти подходящую минуту, чтобы откланяться, и тьма сгустилась перед фасадом дворца маркиза де Досриуса... А за четыре квартала оттуда, в блистающем не столь пышным великолепием особняке Массо, его честь, лежа с широко раскрытыми глазами и стараясь не двигаться, чтобы не разбудить донью Марианну, с безумным постоянством прокручивал перед собой сменяющие друг друга образы: вслед за высокомерной и равнодушной улыбкой неприступной доньи Гайетаны перед внутренним взором судьи представало искаженное болью и полным непониманием происходящего лицо Эльвиры, «бедняжка моя, сплошное мучение».

– Нандо! Куда ты подевался?

⁴³ *Святой Мартин Турский* (или Мартин Милостивый; Мартин, епископ Тура; 316–397) – один из наиболее почитаемых во Франции и в Каталонии святых. День святого Мартина католики отмечают 11 ноября.

⁴⁴ Имеется в виду Театр Святого Креста (Санта-Креу, или Санта-Крус, в испанском произношении), старейший театр Барселоны, открытый в 1603 году, тот самый, в котором была поставлена опера Феррана Сортса «Телемах на острове Калипсо». Сейчас он называется Театр Принсипаль.

⁴⁵ Площадь Пшеницы, или же Рыночная площадь (*кат.*); получила свое название из-за того, что на ней располагался рынок, где торговали зерном, в настоящее время называется площадью Ангела (пласа дель Анжел) и расположена на углу виа Лайетана и Жауме I.

⁴⁶ *Дворец Виррейна* – здание XVIII века, расположенное на бульваре Рамбла, в настоящее время культурный центр. По преданию, по этому зданию долго бродила душа вдовы вице-короля Перу.

⁴⁷ Серебряных дел мастеров (*кат.*).

⁴⁸ Святая-Мария-что-на-Море (*кат.*).

⁴⁹ Святая-Мария-что-у-Сосны (*кат.*).

– Постой-ка, Андреу! Это ты куда-то запропастился!

Ферран Сортс был на взводе. Пробило три, и за сто шагов от казарм уже чувствовалось, что дилижанс готов к отъезду.

– Не опоздать бы мне, Андреу.

– Не выспаться тебе сегодня.

– Это полбеды. Поспать я и верхом могу. Мне просто жаль, понимаешь; не вышло у нас с тобой в последний раз прогуляться по Рамбле.

– Ничего, Нандо. Погуляем, когда вернешься.

– Э! Послушай-ка! Как все прошло с Орлеанским-то соловьем? Представляешь, когда я сидел в гостинице, а ты все не появлялся, по лестнице спустилась сама де Флор, цветущая, как розовый букет!

– Как так? Может, она меня искала?

– Она была рассержена на камеристку, которая, уж и не знаю чем, ей не угодила. Светильник не могла зажечь. Ну, смелее! Расскажи мне про свою интрижку с де Флор!

Господи боже ты мой, как же мог Андреу за жалкие пять минут поведать другу, что влюбился в голос, что позволил телу певицы овладеть всем его существом, что он выставил себя на самое жалкое посмешище, попросив ее руки и сердца, что возомнил: раз она провела с ним ночь, то вот пожалуйста, и что ему, так сказать, пришлось постыдно ретироваться?..

– Все как по маслу, – коротко ответил он. – Но знаешь что? Я тебе лучше напишу.

– Я уж вижу. Вечно ты так, ошалелый. Держи. – Нандо достал из кармана армейского плаща клочок бумаги и протянул ему. – Я сочинил это в обществе пьянчужки-пианиста, пока дожидался тебя в гостинице.

– И что же это?

– Я положил твою «Гибель соловья» на музыку. Скажи отцу, пусть он ее сыграет.

– Спасибо, Нандо. Какой хороший подарок на память... А ты заметил, что тебе к лицу гвардейский мундир?

Оба друга рассмеялись; ими овладела та безудержная радость, которая находит, когда стараешься не расплакаться. Растрогавшись, они обнялись в потемках.

– Какой ты болван, что пошел в армию. Гёте тебе этого не простит.

– Никто не в силах совладать с семейной традицией. Но вскоре я вернусь и заслужу прощение. А покамест – в погоню за приключениями, ведь это тоже дело благородное.

– Да еще и премьеру Галуппи⁵⁰ пропустишь.

– Расскажешь мне о ней, когда вернусь. Кстати, вернуться я собираюсь с оперой под мышкой.

– Дай бог. Но мы же договорились, что я должен написать тебе либретто.

– Жду писем с либретто. Или поехали со мной.

– Послушай, Нандо: в армию я бы и в страшном сне не пошел. Это как в тюрьму попасть. Сортс рассмеялся и протянул Андреу конверт, который таскал с собой всю ночь:

– Тут документы виконта Рокабуна. Ты с ним знаком?

– Нет.

– Не важно. Я должен был их передать адвокату Террадельесу. Знаешь, кого я имею в виду?

– Нет.

– Превосходно. Не понимаю, как ты умудряешься никого не знать.

– Я барселонский отшельник, – рассмеялся Андреу. – Зато у меня есть ты.

⁵⁰ *Бальдассаре Галуппи* (1706–1785) – итальянский композитор, автор многочисленных комических опер-буфф. Руководил капеллой собора Сан-Марко в Венеции.

– Это точно. Гляди: Террадельес живет на улице Кукурулья. Ты ведь сможешь занести ему документы?.. Я был уверен, что увижу его сегодня, на концерте...

– По рукам.

– Не забудешь?

– Завтра обязательно этим займусь. А ты знаешь, как будет по-французски Андреу?

– Как?

– «Ква-ква».

– Сам ты, Андреу, что ни на есть форменная кваква. Жаль, не удалось мне подглядеть за вами в замочную скважину.

Оба рассмеялись и снова обнялись. У них изо рта шел пар, он преломлялся в свете смоляного факела, горевшего на углу казармы, и смешивался с туманом.

– Эх, поздно уже.

Ферран Сортс ушел не оборачиваясь. Прощание его расстроило. Ему было жалче расставаться с другом, концертами, бульварами, чем со своим семейством. Несмотря на это, ему ни разу не приходило в голову нарушить обещание пойти в армию; молодость дает тебе право шагать по жизни, выписывая различные кренделя, и даже приятно, когда есть о чем тосковать. Андреу провожал Нандо взглядом, пока друг не смешался с тенями в тумане. Тогда юноша вздохнул, быстро повернулся и пошел назад в туман и тьму, чтобы ненароком не расплакаться от переполнявших его чувств.

– Я буду часто тебе писать, Андреу! – донеслось из тумана, как из потустороннего мира.

Юноша улыбнулся, потому что ему было доподлинно известно, что Нандо совершенно не способен регулярно писать письма.

На другом конце бульвара Рамбла, за улицей Ампле, дон Рафель, уставший от измучившей его бессонницы, задремал. Ему одновременно снились два или три противоречивших друг другу сна. Его ожидало новое утро и синяки под глазами.

* * *

За десять дней до того, как Нандо Сортс вошел в казарму с комом в горле, опасаясь, что противоречившее его природе решение отправиться на военную службу его величества может оказаться роковой ошибкой; за десять дней до того, как Андреу, поэт, которого обстоятельства его жизни одновременно воспаляли и вполне уместным образом вводили в заблуждение, поднялся вверх по переулку к своему дому; за десять дней до того, как в голове дона Рафеля, утратив ясность, перемешались навязчиво преследующие его образы двух женщин и он забылся беспокойным сном; в тот самый час, когда мадридский дилижанс отправлялся в дорогу, сопровождаемый покрикиванием, прерывистым дыханием, лошадиным ржанием и стуком колес о камни мостовой, в тот самый час, около четырех утра, на заре Дня Всех Святых⁵¹, вдали от Барселоны, за три с лишним дня пути по рытвинам и колдобинам, в селении под названием Мура, забытом Богом и людьми, усевшись на край кровати, плакал Сизет из дома Перика. За все тридцать лет, прожитых бок о бок с бедняжкой Ремей, он ни единой ночи до сих пор не провел в одиночестве, а «когда привычка въедается в кожу, она сильнее тебя, тебе кажется, что ни жить, ни спать без этой женщины, бедняжки, невозможно». Это была ночь накануне Дня Всех Святых, и Сизет плакал и кашлял; кашель давно запустил свои когти ему в легкие, а теперь вдобавок перемешивался с горем. Никогда бы он не подумал, что так любил Ремей; а может, он и не любил ее вовсе, а просто по ней скучал. Никогда бы он не подумал, что будет так тосковать. Он свернулся под одеялом, под которым она спала; было холодно, за

⁵¹ Имеется в виду ночь на 1 ноября.

окном шел сильный дождь, как будто небо решило избавиться от излишней сырости, чтобы затем как подобает устроить теплые деньки, когда придет время. Сизет поглядел на тусклый огонек недавно зажженной свечи. Он почувствовал, что дрожит, и лучше укрылся одеялом. Его охватил приступ кашля, и снова кольнуло в легких, вот здесь, с правой стороны, «этот кашель ко мне прилип как раз тогда, когда мы переехали жить в дом Перика, ох, если бы никогда нам этого не делать, если бы уберег Господь и святые апостолы, всему виной этот жуткий звук – шлеп», он все еще отдавался у Сизета в голове: «Шлеп!» «А теперь умерла Ремей... и ведь ничего у нее не болело». Еще в субботу она говорила ему, что надо поосторожнее с этим кашлем и что стоило бы вызвать врача: «Сизет, пусть он как следует тебя осмотрит», на что он, между приступами кашля, отвечал ей, что «сюда можно вызвать разве только ветеринара, Ремей»; «в этих краях врачей не бывает, будь проклят тот час, когда нам пришлось сюда перебраться», она же молчала и опускала глаза, как всегда, когда Сизет проклинал тот черный день, который привел их в это захолустье... В субботу Ремей была еще жива, и еще как жива. Она приготовила бульон с овощами и мясом, по своему обычаю положив в него слишком много капусты, и Сизет слышал, как она болтает с Галаной о чем-то связанном с домашней птицей, пока он, пользуясь отсутствием дождя, вышел обрезать розовые кусты, которые отцвели первыми, потому что на ветвях тех, что отличались поздним цветением, еще время от времени застенчиво распускались все новые бутоны, просто благословение Господне – эти розы!.. Если бы только не то, из-за чего все так вышло. Под вечер, когда Галана уже ушла, Ремей еще долго сидела у очага и шила, Сизет тоже сидел у очага, только не шил, а кашлял. Вот тогда Ремей и сказала про врача. Так что она тогда была еще как жива. А теперь, в канун Дня Всех Святых, ее уже похоронили. Ремей умерла у него на глазах, в овине дома Перика, когда он, хоть его и душил кашель, с гордостью созерцал недавно привитый побег китайской розы, на котором уже вскоре, как пройдут холода, появятся бутоны нового вида... Ремей умерла в воскресенье, когда вышла сказать ему, что пора идти к мессе, как делала это каждое воскресенье. «Она вышла из овина, бедняжка Ремей, боюсь, при жизни я ее мало любил, и сказала мне: „Сизет, пора“. И замолчала, и я обернулся, а она стояла и смотрела на меня, с молитвенником в руке, она, наверное, уже умерла, но еще не упала». И вот Сизет увидел, как она падает, беспомощная, словно узелок одежды, который падает на землю, беззвучно, тихо, и позвал ее: «Ремей», – и, кашляя, пошел к ней, с тоской в сердце, и закричал: «Галана, Галана!» И вот ее уже похоронили. Сизет не знал, что будет так ее оплакивать, эту смерть. Он разрыдался и снова закашлялся. Утомившись, он услышал, как настойчиво стучит дождь по черепице и по каменным плитам овина этого покинутого дома, и понял, что эта первая ночь в одиночестве будет бесконечно долгой. Свечу зажгли совсем недавно, с нее еще не стекал воск. Ночь накануне Дня Всех Святых была дождливой и холодной, как в Муре, так и по всему периметру Пиренейских гор, промозглой на равнине Фейшес и туманной на равнинах Барселоны. Осенняя ночь тысяча семьсот девяносто девятого года от Рождества Христова, двенадцатого года правления его величества дона Карла IV⁵², гори он в аду или храни его Господь, как вам будет угодно. «Шлеп».

⁵² *Карл IV* (исп. Carlos IV; 1748–1819) – испанский король (1788–1808), второй сын короля Испании Карла III и Марии Амалии Саксонской.

2

С одной стороны Висента, с другой – Нельсон и Рикарда, затем маленькая Пастушка церкви Святого Юстуса, надтреснутая Августина церкви Сан-Север, Томаса с колокольни Кафедрального собора, Паскуала монастыря Святого Филиппа Нери⁵³, а через две минуты и маленький колокол церкви Санта-Моника, Карлота, созывали прихожан оглушительным и бесстрастным звоном, гордые и одинокие на вершинах своих колоколен, далекие от бед, в которых прозябали и дышали люди там, внизу, на краю жизни. Настойчивый призыв колоколов долетал до улицы Ампле и проникал сквозь запертую дверь балкона и окна дворца дона Рафеля Массо-и-Пужадеса, председателя Королевской аудиенсии провинции Барселона. Дворцом в собственном смысле слова этот дом не являлся, но назывался он именно так, и его честь был крайне заинтересован в этом, ведь в имени суть всякой вещи. И поскольку и справа и слева, и спереди и сзади все постройки на улице Ампле считались дворцами, особняк дона Рафеля Массо тоже назывался дворцом.

Донья Марианна, в мантилье⁵⁴, с увесистым молитвенником в руке, сделала крюк, чтобы не наступить на Турка, которому необходимо было как следует отоспаться после долгого сна, и прошла мимо небольшой столовой, которая обычно использовалась для завтраков. Председатель Аудиенсии откусывал кусочек савоярди⁵⁵ с горячим шоколадом в тот момент, когда супруга объявила: «Я иду к мессе». В несколько жалобном тоне вышеупомянутого сообщения со всей очевидностью прозвучало: когда ты уже начнешь пошевеливаться, чтобы нам дали разрешение служить мессу в нашей часовне, сколько лет я тебя прошу. С полным ртом его честь смог произнести только «мм», что означало: не приставай, Марианна. Как только жена исчезла из виду, его честь позвонил в колокольчик, чтобы Ипполит принес ему еще савоярди.

– И еще немного шоколада, Ипполит.

– Шоколад кончился, ваша честь.

– Как это так, кончился?

– Госпожа велела, чтобы мы готовили его поменьше, ваша честь.

– Это еще почему?! – в гневе воскликнул дон Рафель.

– Потому что... – Старик Ипполит, шестнадцать лет прослуживший верой и правдой в доме Массо, отдавший столько поклонов, что износил десять ливрей и четыре изъеденных молю парика, не знал, что сказать. – Потому что... потому, потому...

– Хорошо, Ипполит. Я все понял.

Дон Рафель махнул рукой в предостережение дворецкому, что в его интересах отправиться из столовой восвояси. Как обычно, от раздражения у него вспотела лысина. Он достал шелковый платок и вытер себе макушку; лучше бы эта женщина вместо бесконечных месс и покаяний удвоила порцию шоколада.

– Ваша честь... – проговорил Ипполит.

И вышел из столовой. То, что слуга ретировался с этими словами, навело судью на мысль о том, каких трудов ему стоило приучить его называть себя «ваша честь». Камердинер говорил ему «дон Рафель», он поправлял «ваша честь», а Ипполит ему: «Что, дон Рафель?» А он: «Ты скажи „ваша честь“». А Ипполит: «А-а, „ваша честь“; да, дон Рафель, ваша честь». А он: «Да нет же, просто ваша честь, понимаешь?» А Ипполит: «Так точно, дон Рафель». А он ему: «Ваша честь». А Ипполит: «Ваша честь». А он, чтобы тот как следует запомнил: «Ваша честь».

⁵³ *Святой Филипп Нери* (1515–1595) – католический святой, основатель конгрегации ораториан.

⁵⁴ *Мантилья* – элемент национального испанского женского костюма, длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, который обычно надевается поверх высокого гребня (пейнеты), вколотого в прическу, и ниспадает на спину и плечи.

⁵⁵ *Савоярди* – бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.

А Ипполит: «Ваша честь». А он: «Ну что ж, отлично. Теперь объяснишь это всем в людской». А Ипполит: «Так точно, дон Рафель». А он ему: «Ваша честь». А Ипполит: «Чего изволите, дон Рафель?» А он: «Да что за наказание!» А Ипполит: «Я хотел сказать, ваша честь». А он ему: «Ладно-ладно, ступай уже». А Ипполит: «Как прикажете, дон Рафель, то есть ваша честь». И больше недели ему пришлось биться, чтобы прислуга начала с непринужденностью звать его честь «вашей честью», а ведь донья Марианна тоже прилагала к этому все усилия, так она была счастлива, что мужа назначили председателем Королевской аудиенсии провинции Барселона и практически сразу стали платить ему жалованье в четыре раза больше, – и поначалу приказывала: «Сообщи мне, Ипполит, когда придет сеньор его честь...» – пока его честь не услышал и ему не пришлось пожурить супругу: «Ну что ты, Марианна! Ты будто крестьянка из деревни Сарриа. Что бы сказала губернаторша, если бы слышала тебя?» А она ему: «И как же я тогда должна тебя называть?» А он: «Скажи, когда придет сеньор». А она: «Разве ты не говорил, что мы должны тебя называть „ваша честь“?» А он, с бесконечным терпением, поскольку в этих вещах терпение дона Рафеля было бесконечно, поучал: «Пойми, Марианна: они должны называть меня „ваша честь“, когда обращаются ко мне. Например, когда спрашивают, – проиллюстрировал он с театральным оттенком в голосе: – „Приятно ли вы провели путешествие, ваша честь?“ Или когда отвечают: „Конечно, ваша честь“ или „Никак нет, ваша честь“, понимаешь?» А она ему: «Конечно, ваша честь». А его честь: «Ах, Марианна, бога ради! Ты-то ведь не должна ко мне так обращаться, друг мой! Постой, постой! – поднял он палец вверх, чтобы остановить вращение Земли, поскольку собирался сказать очень важную вещь. – Если б я был король, а? Если бы я был королем, тогда бы ты должна была звать меня „ваше величество“...» Но дон Рафель Массо не был его величеством; он был всего лишь верноподданным короля, человеком, которого лишили дополнительной порции шоколада, поскольку жена решила, что тот портит ему печень, будто она обладала какими-то познаниями в медицине. И пока его честь был погружен в эти размышления, соскребая остатки шоколада со стенок чашки последним савоярди, вошел Ровира. Он вошел без стука, а за ним вбежал испуганный Ипполит, без обязательного «с вашего позволения, ваша честь». Вид у него был скорее оторопелый.

– Да что стряслось, Ровира?

Савоярди дона Рафеля застыло в воздухе на полпути ко рту.

– Такое вот дело, ваша честь, – задыхался секретарь, широко раскрыв глаза. – Ваша честь, я только что... только с улицы... И ходят слухи... Все об этом говорят, ваша честь...

– Да о чем все говорят, черт побери?

– Что певицу-лягушатницу убили, ваша честь.

Чтобы почтить безмерность этой новости, савоярди развалилось на части, и кусок, намазанный шоколадом, очутился на панталонах его чести.

– Ты не мог бы мне это повторить?

Председатель Аудиенсии встал со стула, забыв о том, что испачкался. Секретарь уже немного пришел в себя и дышал ровно.

– Французская певица, ваша честь. Соловей каких-то регионов, ваша честь. Ее убили. Похоже, ее ножом распотрошили. Кровь по всей комнате, ваша честь. Ужас, говорят.

А Ипполит, присев на корточки перед судьей, в отчаянии размазывал мокрой тряпочкой злополучное пятно на панталонах его чести.

– Оставь меня в покое, будь любезен! – вскипел дон Рафель. – Тут люди об убийствах разговаривают, а Ипполит со своими пятнами. Боже ты мой!

– Говорят, что бедняжка...

Но его честь уже дошел до конца коридора, и сердце его готово было выскочить из груди в смятении, потому что ему слишком многое вспомнилось. Он ни на мгновение не подумал, как жаль, что больше никогда я не услышу ее ангельский голос. Не приходили ему в голову и те вопросы, которые задает себе профессионал, узнав о смерти чужого человека: кто, как,

когда, где, почему, *cui prodest*⁵⁶, найдены ли свидетели и оружие, да, в первую очередь оружие убийства. И кто подозреваемый. Весь круг подозреваемых. Он думал только об одном: «О, боже мой, труп женщины, труп женщины...» Он повторял эти слова, шагая по коридору, и у него начинала покрываться потом лысина, и руки, и душа. Его не занимали мотивы, улики, доказательства, поскольку, даже будучи самой важной персоной в Верховном суде провинции, на смерть он всегда косился с гримасой презрения и предпочитал, чтобы с ней возились его подчиненные.

– Ее четвертовали, ваша честь, – настаивал Ровира, идя за ним по пятам по коридору. – Господин прокурор ждет вас внизу.

– Дон Мануэль?

– Да, ваша честь.

Судья сдержал недовольную гримасу. Весь город на ноги подняли, пока он тут за шоколадом дурака валял. Если что и приводило дона Рафеля в ужас, не считая происшествия с Эль-виroy, так это люди, которые не докладывают о своих шагах. «Вот незадача, ведь в городе все было тишь да гладь...» Он помотал головой, надевая кафтан перед огромным зеркалом в передней. Потом решил, что жена и де Флор испортили ему завтрак, и возненавидел их обеих. Он печально посмотрел на себя в зеркало, чтобы убедиться, что все в порядке; Ипполит с профессиональным интересом созерцал пятно на панталонах, и дон Рафель испуганно вскрикнул – он так перенервничал, что чуть не вышел из дому полураздетым.

– Ипполит, – скомандовал он, – парик, живо!

Перед входом в гостиницу «Четыре державы», прямо посреди бульвара Рамбла, празднo-любопытствующие, собравшись в кучку, разглядывали фасад здания и рассуждали. Последние события произвели на них такое впечатление, что они не замечали, что, хотя дождь и перестал несколько минут назад, по земле к ним подкрадывался туман, способный проморозить их до костей, и шлепали по грязи, которая никак не замерзала при такой влажности. Все это не имело для них значения, потому что эта толпа ремесленников, питавшаяся слухами, жаждала новостей и пересудов на их основе. Суть дела можно было изложить так: «Говорят, что ходят слухи, будто французская певичка... – А, французская певичка? – Да. – В общем, ее изрубили на куски. – Ух ты! Смотри-ка!.. А где? – Вот здесь. – Здесь? – Да, в трактире. – Ух ты! А зачем эта лягушатница приехала-то сюда? – Пела она тут, елки-палки. – Ну, понятно. В гостинице пела? – О чем тут разговор? – Да, говорят, что ножом раскрошили певицу-франуженку. – Етить-колотить! А ты откуда знаешь, Мариона? – Мне Жерони сказал, он в гостинице работает. – И прямо в гостинице дело и было? – Да. – Тогда пойду погляжу. – Придется поверить на слово: тебя туда не пустят, не видишь, там солдаты? – Смотри-ка... Распотрошили? На кусочки?... – Да что ты врешь! – Да-да, клянусь! – О чем тут разговор? – Да, говорят, певицу из Мадрида тут разрезали на части. – Из Парижа! – Да, в смысле, из Парижа. Вот так штука, а кто же это был? – Неизвестно». Количество желающих заполучить воспаление легких было уже шестнадцать, или двадцать, или двадцать пять человек, и все они делились мнениями или высказывали противоречащие друг другу точки зрения, на злобу дня, не добавляя особенных деталей за исключением того, что раз уж ее изрубили на мелкие кусочки, то и концы в воду. «А еще ходят слухи, что убийца сбежал. – А ты почему знаешь? – А я слышал, что убийц было двое и их поймали. Оба матросы. – Дело ясное – воры, ведь у певиц-иностранок денег куры не клюют. – Нет-нет, не воры: матросы. – Ах, мама дорогая! И зачем ей было столько денег? – Да уж, когда настанет твой час, прореху ими не залатаешь. – Да, милочка, что суждено, то суждено. Что ж, я пошла. – Ты куда? – На рынок Бокерия⁵⁷. – Ну что ты, погоди, потом вместе сходим. –

⁵⁶ Кому выгодно (лат.).

⁵⁷ Рынок Бокерия (также известен как Сан-Жузеп) – городской рынок в районе Эль-Раваль, с входом с бульвара Рамбла.

А кто сказал, что ее ограбили? – Я. – Значит, и вправду так и было? – А ты как думала, кабы не вправду, я бы и не говорила. – Два матроса с Майорки. – Что за жизнь, господи, ночью уже и на улицу не выйдешь! – Твоя правда, но она никуда и не ходила, ее прямо в гостинице убили. – И того хуже! В наше время уже нигде не безопасно. – Сказал как отрезал! – Когда я был маленький, можно было гулять по всему городу спокойно... – А все оттого, что разрушили стены. И вот! Живем теперь среди воров. – А она, выходит, лягушатница? – Кто? – Мамзель, которую на куски разрезали. – Как? Женщину на куски разрезали? Где?» К этому моменту толпа завсегдатаев, собравшихся посудачить напротив гостиницы, посреди бульвара Рамбла, насчитывала уже человек тридцать, а убийцы превратились в троих матросов-майоркинцев с корабля «Непобедимый». «Да нет, не то чтоб вовсе на куски. Эулалия сказала, что... – Какая еще Эулалия? – Из семейства Пок. – А! Гляди-ка, а вот и она. Здравствуй, Эулалия, девонька, что скажешь про эту беду? – Скажу, что вовсе ее не изрубили на кусочки. – Так что ж они все путают, эти кумушки? На кусочки, говорят! Что за люди... – И как же было дело? – Ей отрезали только руки. И ноги. – А мне сказали, что еще и голову. – Да, тут вы правы: и голову тоже. – Милочка, вот так штука! Если уж это не кусочки...» В то время как они разбирались, являлась ли вышеупомянутая мясорубка в техническом плане расчленением на куски, черная карета, запряженная свинцово-серой, как погода, лошадей, старой и измученной астмой, проехала через ворота со стороны Оллерса, покатила вниз по бульвару Рамбла и остановилась перед гостиницей. Не соблюдая ни малейших предписаний протокола, сухощавая фигура дон Рафеля Массо, председателя Королевского верховного суда, вылетела в такой спешке, что вся карета закачалась. Через ту же дверцу вслед за председателем суда выскочил почтеннейший и весьма упитанный прокурор Уголовной палаты дон Мануэль д'Алос и угодил прямо в грязь. Словно возникнув из тумана, за важными особами последовали секретарь Ровира и старший пристав. Все четверо презрительно взглянули на толпу, уже состоявшую примерно из четырех десятков верноподданных его величества, которые судили да рядили возле отеля, и поднялись по трем ступеням, чтобы войти в гостиницу «Четыре державы». «Ну-ка, ну-ка, Мариона, а это еще кто такие? – Наверное, капитаны дозорной службы. – Держи карман шире! – Самый толстый – из суда. – Значит, судьи, получается? – А я почему знаю! – По мне, так все эти бараны на одно лицо. – Бьюсь об заклад, они из полиции. – Видали, что за типы только что вошли? – Да, о них и речь».

Почтеннейший председатель Королевского верховного суда поднимался по лестнице, тяжело дыша, набычившись, как будто собирался забодать кого-то париком. Прокурору, который был моложе и подвижнее, пришлось остановиться на лестничной площадке, чтобы дожидаться, пока дон Рафель Массо придет в себя. Нездоровое любопытство боролось в нем с почтением к начальству, пусть ненавистному, но все же таки начальству, и прокурор, нервно кусая ногти, ждал, пока глава Аудиенсии переведет дыхание.

– Ну что? – спросил он у дозорного солдата, как кол стоявшего на лестничной площадке.

Солдат вытянулся по стойке смирно и отрапортовал:

– Не знаю, сеньор. Я сам не видел. Говорят, ей голову отрезали.

– Это называется обезглавили.

– Говорят, ей голову обезглавили, сеньор.

Прокурор не стал утруждать себя объяснением. Он чувствовал, что почтеннейшее дыхание за его спиной становится ровнее, и горел желанием приступить к работе. Да и кому бы не хотелось первым попасть на место происшествия, нешуточное дело.

– Куда идти, солдат? – осведомился секретарь Аудиенсии.

– Туда, сеньор.

Все четверо направились туда, куда указывал солдат своей аркебузой, пересекли длинный темный коридор и подошли к двери, возле которой еще один солдат, как две капли похожий на первого, точно так же маялся бездельем. Заметив приближающихся господ, он неук-

люже вытянулся по стойке смирно. Обе важные персоны его проигнорировали. Они вошли в просторный номер, который Мари дель Об де Флор сняла на пять дней своего пребывания в Барселоне. Пристав и прокурор бросились к кровати. Дон Рафель, еще не успевший ничего хорошенько рассмотреть, втайне почувствовал досаду и, едва не подавившись ругательством, соорудил кроличью улыбку: глава полиции, гнида, уже обследовал комнату. Одного имени вездесущего полицмейстера, неизвестно откуда взявшегося, хватило бы на четверых: его звали дон Херонимо Мануэль Каскаль де лос Росалес-и-Кортес де Сетубал. Дону Рафелю внушала искреннюю неприязнь ловкость этого жалкого португалишки, а тот между тем понемногу осваивался, становясь в городе влиятельным человеком. Дон Херонимо, понятия не имевший о том, что дон Рафель с радостью задушил бы его на месте, ворошил концом трости кучу одежды, лежавшую на полу.

– Очень некстати нам это убийство, ваша честь, – произнес он в качестве приветствия.

Ему уже доложили, какие ходили толки, и дон Рафель понимал, что дону Херонимо известно, что дон Рафель знает, о чем идет речь. Убийство именитой иностранки, тем более француженки, всегда чревато серьезными последствиями. И вдобавок не прошло и десяти часов с тех пор, как эта певица давала концерт всей имеющейся в Барселоне придворной аристократии, для полного блеска которой не хватало только присутствия короля. Приезжал на концерт и губернатор, который, по неизвестно от кого поступившим сведениям, был крайне очарован бюстом погибшей мамзели и не так, так эдак собирался с ней переспать. Убийство пришлось не вовремя и потому, что, если у кого-то взаимоотношения с губернатором и без того являлись достаточно натянутыми, сейчас и вовсе никто не пожелал бы предстать перед ним с докладом, не располагая ответами на некоторые вопросы. Все это, как, без сомнения, и многое другое, имел в виду собачий сын Сетубал, говоря, что убийство произошло некстати. Дон Рафель поднял глаза, и взгляд его скрестился с холодным и расчетливым взглядом португальца; он тут же поскорее опустил их долу, как будто почувствовал, что этому странноватому человеку известны его прегрешения. И заинтересовался ворохом одежды на полу, как будто во всей комнате не было ничего более важного. Он и не глядя знал, что дон Херонимо Каскаль де лос Росалес улыбается. И предъявляет ему великое множество обвинений. Служителю правосудия захотелось сбежать, раствориться в воздухе: «Это Ровира виноват, мне в этой комнате и делать-то нечего; это дело полицейских, и прокуроров, и обычных судей, а никак не председателя Аудиенсии... все из-за того, что я слишком разнервничался. Но такова жизнь, она, как и смерть, подстерегает нас за углом, и от неожиданности не скроешься: нужно крепиться». Председатель Верховного суда позволил дону Херонимо подойти поближе.

– Ваша честь.

– Доброе утро, дон Херонимо, – произнес он с нарочитой самоуверенностью. – Что же тут произошло?

Меньше всего на свете дону Рафелю хотелось разглядывать труп, хотя он и знал, что тот лежит слева, в углу, где стоит тишина, какая всегда наступает, когда люди знают, что рядом мертвец. Дон Херонимо точно угадал его мысли:

– Идите сюда, поглядите. Разумеется, если не возражаете.

– Ну что вы...

Дона Рафеля мутило так, что он едва не потерял сознание, не столько потому, что вся эта мясорубка припала к нему не по вкусу, или же потому, что ненавидел покойников, которым заблагорассудилось умереть, чтобы отравить ему жизнь, сколько из-за воспоминаний; дон Рафель отдал бы все, лишь бы не вспоминать. Он глубоко вздохнул и покорно последовал за полицмейстером. Тот подвел его к кровати, и тут смеющееся лицо бедняжки Эльвиры пронзило его мысли, как молния. На кровати лежало нечто громоздкое, и двое помощников Сетубала вместе с патологоанатомом копались в нем, отмахиваясь от подоспевших как раз вовремя, чтобы не дать им работать, старшего пристава и прокурора дона Мануэля, которые ни за что

на свете не отказались бы взглянуть на обнаженную женщину, да еще вдобавок иностранку, и к тому же совершенно бесплатно. Дон Рафель, делая вид, что все идет как надо, еще раз повторил: «Ну что вы...» – и добавил: «Посмотрим, посмотрим, в чем тут дело».

Мари дель Об де Флор, уроженка Нарбонны, известная миру под именем Парижского соловья вплоть до десятого октября девяносто третьего года, когда ей пришлось удирать из Парижа сломя голову, и перекрещенная Бонапартом⁵⁸ в Орлеанского соловья, покоилась на ложе, обескровленная. Ее не изрубили на кусочки, не четвертовали. И даже не обезглавили. В области сердца виднелась ровная ножевая рана, а на шее – ужасный порез, напоминавший зловещую улыбку, как будто ей хотели перерезать голосовые связки. Дон Рафель облегченно вздохнул. Не так уж это было и чудовищно. А в том, чтобы взглянуть на обнаженное женское тело, и вовсе нет ничего неприятного, чего уж там.

– Простите, я отвлекся, – взволнованно произнес он.

– Мне думается, что речь идет об убийстве ритуального характера.

Глава полиции отошел на несколько шагов, предлагая судье проследовать за ним. Дон Рафель достал табакерку, чтобы чем-нибудь занять руки. Затем взял щепотку табака и некоторое время подержал ее между пальцами, ведя разговор.

– Об убийстве какого характера? – переспросил он.

Он был слегка напуган, по своему обыкновению подозревая: в том, что привычный порядок вещей вышел из-под контроля, виноват именно его собеседник...

– Я имею в виду, что убийца действовал так, будто эта смерть является частью определенной церемонии. Доктор утверждает, что женщина была мертва уже после первого из нанесенных ей ножевых ранений.

– Как же это все... – Дон Рафель бросил взгляд на кровать, глубоко вздохнул и сделал над собой титаническое усилие, чтобы снова войти в роль председателя Королевской аудиенсии. – Повелеваю, чтобы виновного или виновных нашли сегодня же. – Он нюхнул табака, делая вид, что чрезвычайно собой доволен. – Полагаю, господин прокурор меня слышит.

– Но, ваша честь! – воскликнул д'Алос, не отходя от кровати.

И дону Рафелю полегчало.

– Я вижу, вы меня поняли... Вас это тоже касается, дон Херонимо, – решительно добавил он. И захлопнул табакерку. – Вам известно, куда направлялась де Флор по окончании гастролей в Барселоне?

– Нет, честно говоря... – Прокурор попытался объяснить, что он даже о ее гастролях в Барселоне понятия не имел.

– Ко двору его величества. Она ехала выступать перед королем.

Необходимости вдаваться в более пространные объяснения не было. Дон Рафель Массо засунул табакерку в карман сюртука и вынул кружевной платок, потому что намеревался чихнуть от всей души. Однако замысел его провалился самым что ни на есть жалким образом, поскольку, наклоня голову, он заметил насмешливый взгляд ненавистного португальца Сетубала, будь он трижды неладен.

– Полиция сделает все возможное, чтобы исполнить желание вашей чести, – произнес дон Херонимо.

Так и произошло. Полиция действовала решительно, быстро, продуманно, блестяще и обнаружила и арестовала убийцу через несколько часов после того, как Антония, Томаса, Нельсон и Рикарда пробили полдень.

⁵⁸ *Наполеон Бонапарт* (1769–1821) – французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики (1799–1804), император французов (1804–1814 и март–июнь 1815).

Андреу стоял посреди зала, не обращая внимания на то, что одну из боковых стен полностью занимает живописное полотно внушительных размеров, приобретенное по единогласному решению первого со времени принятия декретов Нуэва-Планта⁵⁹ городского совета уже восемь десятков лет тому назад. На этой картине живыми праздничными красками был изображен первый из вцепившихся в Барселону когтями представителей королевской династии Бурбонов, гордо гарцующий на коне, держа удила в левой руке, а скипетр в правой, уставившись с полотна неподвижным, уверенным и победоносным взглядом, в величавом парике в стиле Людовика XIV⁶⁰, теперь уже вышедшем из моды, с локонами почти до самой королевской талии. Над ним, промеж облаков, трубили в трубы ангелы с великолепным штандартом, на котором небесными чернилами было запечатлено: «*Philippus V. hispaniarum rex, et ipse nominatus inter tres robustus*»⁶¹, к вящему позору двух олухов, оказавшихся менее «*robustus*»⁶², чем «*Philippus*»⁶³. Под конскими копытами полудохлый лев с перекошенной мордой – интересно, Германия или Туманный Альбион? – созерцал апофеоз *hispaniarum rex*⁶⁴, в то время как в глубине композиции разворачивался парад могучих войск, скромно отодвинутый на задний план. Бедняге Андреу некогда было рассматривать изящные детали парадного полотна, поскольку в тот самый момент в зале Третьей, или Уголовной, судебной палаты Королевской аудиенсии Барселоны ему было по всей форме предъявлено обвинение в убийстве французской оперной дивы Маридельоп Десфлех, совершенном сегодня ночью между полуночью и четырьмя утра. За неимением каких-либо аргументов в свою защиту со стороны обвиняемого таковой подлежит тюремному заключению до завершения судебного производства. Председатель Уголовной палаты подождал несколько секунд, бросил скучающий взгляд на Андреу, беззвучно шевелившего губами, не в силах произнести ни звука, объявил судебное заседание закрытым и приказал старшему приставу сопроводить обвиняемого в тюрьму после завершения соответствующих формальностей.

Андреу, руки которого были связаны за спиной, проследовал в сопровождении двух солдат в какой-то пустой кабинет, в котором стояли два стула и стол, очень дурнопахнущий.

– Подожди-ка здесь минуточку и не дури, слышишь?

Пристав ушел, оставив юношу в обществе двух солдат, и тут Андреу пробило: «Эй, вы! Да вы что, все спятили?» – оба солдата уставились в стену, вот незадача, эти караульные из Аудиенсии тертые калачи, насмотрелись на висельников. Андреу как раз собирался спросить их, что же вы молчите, когда открылась дверь и через нее проник густой, сильный, тошнотворный запах грязного и мокрого войлока, вслед за которым появился долговязый, тощий и неприятно кашляющий человек, одетый в старомодное войлочное пальто, насквозь промокшее от дождя, который поливал Барселону не переставая уже битый час. Человек не стал снимать треуголку, сидевшую на его несколько траченном молью парике, каких со времен покойного монарха Карла III⁶⁵ никто не носил. Даже принимая во внимание то, где они находились, вид у него был такой, как будто он каким-то невероятным образом явился из прошлого. Он поло-

⁵⁹ Декреты Нуэва-Планта – три королевских указа, которыми были ликвидированы политические структуры Каталонии, Валенсии, Балеарских островов (так называемых каталонских земель) и Арагона. Эти указы были подписаны во время и сразу после Войны за испанское наследство. Указы относились к тем территориям, которые поддержали в борьбе за испанскую корону Карла VI Габсбурга. Этими декретами территории «каталонских земель» были разделены на провинции, каждой из которых управлял назначенный из Мадрида губернатор (генерал-капитан).

⁶⁰ Стиль Людовика XIV (Большой стиль) – художественный стиль золотого века французского искусства второй половины XVII столетия, в котором соединились элементы классицизма и барокко. Своим образным строем выражал идеи торжества сильной, абсолютной королевской власти, национального единства, богатства и процветания.

⁶¹ «Филипп V, король Испании, могущественнейший из трех мужей» (лат.).

⁶² «Могущественными» (лат.).

⁶³ «Филипп» (лат.).

⁶⁴ Короля Испании (лат.).

⁶⁵ Карл III (1716–1788) – король Испании с 1759 года, из династии Бурбонов, сын Филиппа V.

жил свой битком набитый портфель на стол и устало заговорил. Создавалось впечатление, что ему совершенно безразлично, что его пальто воняет мокрым войлоком. Он даже позволял себе время от времени гаденько пошмыгивать, втягивая в себя сопли.

– Андреу Перрамон?

– Я ни в чем не виноват.

– Чудненко. Андреу Перрамон?

– Да.

– Уроженец и житель Барселоны? С улицы Капельянс?⁶⁶

– Да, но я...

– Род занятий?

– Да ничего определенного... Я пишу... Я поэт.

– Но ведь как-то же ты, наверное, зарабатываешь на жизнь?

– А!.. Ну, в общем... Учю ребятшек петь... Но послушайте, сеньор, я ни в чем не виноват.

– Чудненко. Теперь, будь любезен, расскажи мне, как было дело.

– Какое дело?

– Дело известное: как ты ее уколошил. Нам нужно подыскать, за что зацепиться, чтобы лучше подготовить защиту.

Андреу тяжело вздохнул от нетерпения и от досады. Да еще и нос у него чесался, а руки были связаны за спиной.

– То есть мне вообще никто не верит?

Адвокатишка устало улыбнулся. Потом с той же усталой улыбкой взял портфель и заглянул в него, пытаясь оценить ситуацию:

– Тебе не нужна моя помощь?

– Но как же... как же... ведь это не я! Как же вы хотите, чтобы я признался в том...

В ответ адвокат втянул в себя сопли и звучно захлопнул портфель:

– Ладно, парень. До встречи на суде.

Он пощелкал костяшками пальцев и отправился восвояси. Андреу в оцепенении остался в комнате, где все еще воняло мокрым войлоком.

Из старого Палау де ла Женералитат⁶⁷, в котором располагалась теперь Королевская аудиенсия, Андреу увели по тюремному спуску в мрачное здание на пласа дель Блат, очутиться в котором он не помышлял и в страшном сне. И он, и два солдата, сопровождавшие его, стойчески переносили дождь. Возможно, дело было в том, что он вышел на свежий воздух, проветрился; по какой бы то ни было причине, Андреу уже не чувствовал себя так безнадежно: несомненно, это недоразумение вскоре прояснится. Благо еще, что хлестал ливень и по дороге они с охранниками никого не встретили на улице, кто мог бы сказать: гляди-ка, интересно, в какую передрыгу впутался этот шалопай.

У ворот тюрьмы, миновав какой-то жалкий караул, состоявший из стражника, ловившего на себе вшей, они остановились возле очень толстой решетки.

– Еще один? – проговорила решетка.

Седовласый старик с длинными волосами, на лице которого постоянно играла совершенно неуместная в такого рода заведении улыбка, повернул ключ и впустил Андреу и солдат.

– Я желал бы переговорить с тем, кто здесь старший, – проговорил Андреу, решивший как можно скорее положить конец создавшейся путанице.

– С начальником тюрьмы? – переспросил старикашка.

⁶⁶ Капелланов (кат.).

⁶⁷ Дворец правительства (кат.).

– Вот именно.

– А я тогда желал бы переговорить с папой римским, – снова осклабился тот. – Вперед, за мной.

– Нет, я серьезно.

– Ну-ну. А пока иди вперед.

Казалось, стены знают, какую роль им следует играть: все дышало тюрьмой. Длинный темный коридор; звенящий ключами тюремщик со светильником в руке; лестница, ведущая неведомо куда; малюсенькие зарешеченные окна, о господи, нешуточное дело!

– Я вам сказал, что мне необходимо переговорить с начальником тюрьмы! Я неповинен в том, в чем меня обвинили!

– Проходи. А вам сюда нельзя.

Когда безмолвные солдаты остались по ту сторону очередной решетки, Андреу почувствовал, что его оглушило одиночество, как будто их бесполезное присутствие было единственным, что связывало его с внешним миром. «Боже мой, за что мне все это?»

За зарешеченной дверью начался новый спуск по винтовой лестнице, словно в поисках еще более темного закутка в этой гиблой дыре. Нижний этаж, куда не проникал солнечный свет, был царством теней. Каким-то чудом избегая столкновения с теньями, тюремщик продвигался вглубь подвала и в конце концов остановился у деревянной двери. И открыл ее. Смерд, вырвавшийся из-за двери, чуть не сбил Андреу с ног. Вонючка была немыслимая.

– Боже мой, что это за зловоние?

Тюремщику, притерпевшемуся к любым сочетаниям запахов, это замечание показалось малоинтересным. Вместо ответа он подтолкнул Андреу вперед и запихнул его в закуток, казавшийся прочно слеplенным из гнили. Во тьме желудок Андреу начало непреодолимо выворачивать наизнанку, и он услышал, как за его спиной щелкает замок. Он замер, пытаясь притерпеться к сумеркам. Без сомнения, ему было страшно сделать шаг и наступить на что-нибудь мерзкое. К горлу подступила тошнота, и юноша инстинктивно согнулся и издал такой звук, будто его вырвало. Из неведомых глубин этих омерзительных испарений раздался хохот, а затем из черной влаги донесся становившийся все слышнее голос:

– Видно, тебе здесь не по вкусу.

Андреу перепугался. Он не представлял себе, что в камере могли быть еще какие-то люди. Но разве мог хоть кто-нибудь выжить в такой темноте и... боже, этой ужасной вони, буравящей ноздри и горло...

– Здесь кто-нибудь есть? – опасливо позвал он.

Голос опять расхохотался.

– Есть ли здесь кто-нибудь? Пять или шесть человек, жаждущих с тобой познакомиться, – проскрежетал мерзкий голос.

– Пять или шесть?

– И еще один, который... – За фразой последовал звук удара. – Слышь, ты, малец! – снова обратился голос к Андреу. – Есть тут один, который не совсем того. Не доживет до завтра.

Андреу обмотал лицо рубашкой, как защитной маской. Снова раздался тот же смех.

– Ты что ж это, желаешь, чтобы тебе личную камеру предоставили?

Андреу не ответил. Он не решался глубоко дышать, потому что не хотел, чтобы легкие наполнились этой мерзостью.

Голос продолжал свой монолог:

– И думать забудь. Чем со стенами воевать, лучше чужую вонь терпеть.

В одном из углов, заметил Андреу теперь, было чуть посветлее. Он разглядел малюсенькое, очень высоко расположенное окно, через которое в этот угол проникали последние лучи ноябрьских сумерек. Андреу подошел к нему с надеждой, что рядом с ним сможет беспрепятственно дышать.

– Сколько вы уже здесь? – спросил юноша незнакомца.

Голос снова засмеялся. Похоже, вопрос его изрядно позабавил. Через несколько секунд послышались глухие, мертвые слова:

– Да кто ж его знает. Лет десять, а то и больше.

– Чего тебе делать в саду в такой дождь? – жалобно протянула донья Марианна. – Тебе даже телескоп там поставить не смогут, Рафель!..

Дон Рафель открыл дверь, не удостоив ее ответом. Он поднял воротник жюстокора. Донья Марианна была права: лил дождь и было холодно; он никак не мог вынести телескоп в сад и подсматривать за волшебной туманностью Ориона. Но ему хотелось подумать о донье Гайетане, а прелюбодейным мыслям для надлежащего развития нужен простор. «Да, льет как из ведра», – подумал он. Покамест он укрылся под балконом и прислонился к стене. В темном саду слышен был только стук капель, шум умиротворяющий, глухой, но совершенно безразличный к его безудержным желаниям, «Гайетана моя». Донья Гайетана была женщиной фатально недоступной: ведь эта дама жила на другой стороне улицы, имела титул баронессы, блистала дерзкой, искрометной красотой, предпочитала держать своих знакомых на некотором расстоянии; от роду ей было всего лишь двадцать лет, а ему уже перевалило за пятьдесят, и никаким аристократическим достоинством он похвастаться не мог, а разве что лысиной, чувствительной печенью, приличным состоянием и большими связями. Дон Рафель страдал, поскольку был по натуре влюбчив, и это качество доставило ему уже изрядно хлопот. Думать об этом не имело смысла. И дабы не переливать больше из пустого в порожнее, судья вышел в сад, под противный холодный дождь. Он тут же промок до нитки и через полминуты признался самому себе, что донья Марианна была права, но, как всегда, решил героически дотерпеть до предела, чтобы не позволить ей одержать легкую победу. Дон Рафель направился к центральной клумбе, гораздо более пышной, чем все остальные, густо заросшей бегониями, еще стойко переносившими заморозки, на которой новый садовник зачем-то решил насадить голландских тюльпанов: каких-то луковиц, из которых, похоже, должны были проклюнуться занятные цветы. Он поднял голову. Никаких звезд, держи карман шире! В глаза ему попали капли дождя, как готовая альтернатива слезам, раз уж он снова вспомнил об Эльвире, «бедняжка моя». Слезливый его честь не был. И все же за те два года, что он не улыбался, ему все чаще хотелось расплакаться. Он вздохнул и вперил взгляд в темную глыбу своего дворца, не чувствуя теперь гордости, а скорее с трудом переводя дыхание. Невзирая на ливень, он ощутил, как с моря дует ветер. И потому решил, что уже порядком вымок для того, чтобы прислуге и донье Марианне стало ясно, что он не последовал разумному совету супруги, и вернулся домой, готовясь провести еще одну бессонную ночь. Которую ночь подряд.

Кольбато, 12 ноября 1799 года

Милый мой соотечественник!

Распроваившись с закоренелой своей аграфией⁶⁸, кою ты так охотно ругаешь, я решился исполнить данное тебе диковинное обещание. Подразделение наше остановилось на привал в Кольбато. Мне посчастливилось вдоволь наглядеться на причудливые очертания горы Монтсеррат. Невзирая на то что я провел пять долгих, плодотворных и музыкальных лет в монастырском хоре мальчиков, вид на ее склоны издали пробуждает во мне совсем иные чувства. Это совершенно удивительная гора. Она как будто состоит из девичьих кудряшек или из булок хлеба, из багетов, как те, что печет Доминга с улицы Рек. Да-да, Андреу, уже тоскую; сколь

⁶⁸ Аграфия – это грубая дезорганизация письменной речи, приводящая к невозможности реализации акта письма.

ты ни зови меня непоседой и ни говори, что во мне живет дух искателя приключений, твой друг – человек чувствительный и нежный, и возвращения – моя слабость. Когда-нибудь я представлю на твой строгий суд теорию касательно тоски и ностальгии: она напрямую связана с тем, что вдруг, ни с того ни с сего, мы сочиняем музыку или стихи... Полно; после расскажу тебе все по порядку. Упомянув про кудри, я тут же вспомнил про твою мамзель. Ты обещал мне подробный отчет о своем романе. Гляди-ка, вот что: пиши мне в Мадрид, в Главный штаб... только вот ума не приложу, где находится этот штаб, потом скажу. Коль все пойдет по плану, письмо твое туда прибудет задолго до нас. Нам сообщили, что мы проведем там целый месяц, до тех пор, пока не сформируют соединение для перехода в Малагу. По рукам? Опиши мне подробно все прелести мадемуазель де Флор. Сказывал ли я тебе, что ни разу не был в постели с иностранкой? Все ли у них на том же месте? И как понять друг друга? Ну же, не сердись на меня... Времени восемь вечера, темно хоть глаз коли, накрапывает дождь, и, слушая, как он стучит по крыше палатки, я сам удивляюсь, как можно быть таким ослом, чтобы примчаться сюда, в Кольбато, к горе Монтсеррат, в составе военной колонны, весь день скакавшей так, словно за нами гнались черти, хотя у нас нет ни малейшей нужды торопиться в Сарагосу. А ты это в силах понять?

Андреу, неизвестно, буду ли я и завтра в состоянии сдержать обещание писать ежедневно по несколько строк. Тебе-то писать мне письма труда не составит, я знаю... А я для тебя из кожи вон лезу. Ради дружбы в огонь и в воду. В новом письме я собираюсь порассуждать о твоих стихах, которые ты так недооцениваешь, и о твоём необузданном желании считать себя дурным поэтом. Ты дурен, милый мой, но не в такой же мере! (Шучу!) А я сочинил мелодию для гитары в стиле фанданго⁶⁹. Я задумал ее возле Молинс-де-Рей, и когда мы подъезжали к Эспаррегере, она была уже готова. Осталось только записать ее, как распрощаюсь с тобой. Пора, нам завтра вставать с рассветом, и лейтенант Касарес, мой сосед по палатке, уже ворчит. Да ну его, Касареса, пускай потерпит! Знаешь ли что? По возвращении из Малаги, коль не угаснет мой пыл, предстану перед тобой с первым томом своих эпистолярных экзерсисов (если ты хранишь мои письма!) и с оперой под мышкой. Зря времени терять не буду.

Прощай, одинокий друг мой. Отцу твоему передай, что я его не забываю. Пусть он тебе сыграет «На смерть соловья». Нет ли тут поблизости какой-нибудь крестьяночки, желающей скоротать со мной ночь?.. Нет как нет, Андреу. Одно развлечение – слушать, как храпит Касарес. Бог знает когда същется почта, чтобы отправить письма. Буду покамест их хранить. Твой друг Нандо

⁶⁹ Фанданго – старинный испанский народный танец, с медленным началом и постепенным ускорением к концу, исполняется в паре под пение фанданго в сопровождении гитары и кастаньет.

3

«Милый Нандо. Приезжай. Вернись. Мой сын в тюрьме. Его обвиняют в убийстве певицы де Флор. Я неделю пытаюсь добиться свидания, но нам так и не удалось с ним поговорить; нас к нему не пускают. Я не знаю, что делать. Тереза помогает мне чем может, но и она потеряла голову. Ты один можешь нам помочь. Я ходил к тебе домой, но там ни души. И я не знаю, к кому еще обратиться. Я понимаю, что сам ты не можешь помочь нашей беде, но ты знаком с влиятельными людьми. Приезжай, Нандо. Мне кажется, Андреу вне себя от горя. Нас не пускают к нему. Оказывается, у меня нет никаких доказательств его невиновности, Нандо, ни единого доказательства!» А ведь маэстро Перрамон даже представить себе не мог, когда в отчаянии писал это письмо, что единственным человеком, который мог свидетельствовать о том, что Андреу Перрамон не убийца, был именно Ферран Сортс. Маэстро Перрамон не знал, что младшенький из семейства Сортс видел мадам де Флор живой уже после того, как Андреу, сгорая от стыда, ретировался из ее комнат, ища спасения во тьме бульвара Рамбла, когда она спустилась в пеньюаре, чтобы пожаловаться на дурно горящий светильник. Поскольку ночной сторож спал крепким сном, будить пьяно храпящего маэстро Видаля не было смысла, а господину Арксу к тому моменту уже удалось сбежать, Сортс решил проблему сам, поменяв местами ее светильник с одним из тех светильников в зале, которые недавно потушил официант. В благодарность за услугу де Флор расцеловала его в обе щеки. Хорошие манеры, разумеется, не позволили Сортсу осведомиться, куда подевался Андреу. Но он мог бы под присягой подтвердить, что в полночь певица была еще жива. В полночь, когда Андреу уже покинул трактир, де Флор, обругав последними словами маэстро Видаля и свою камеристку, женщину без стыда и совести, решившую, видимо, что с наступлением революции работать ей уже не нужно, снова расцеловала Сортса в обе щеки перед тем, как подняться по лестнице и исчезнуть из виду. Разумеется, Сортс-младший понятия не имел, что эти поцелуи стали последними в жизни де Флор. Маэстро Перрамону это тоже никак не могло прийти в голову. Но рано поутру, когда туман, лизавший влажные стены домов в тот день, двадцатого ноября тысяча семьсот девяносто девятого года от Рождества Христова, еще не рассеялся, он отправился на почту на улице Бориа и поручил курьеру нагнать военную колонну, которая в тот момент уже должна была подходить к Сарагосе, вручить Нандо письмо, которое они с Терезой вместе написали в ту отчаянную ночь, после того как провели несколько дней, обивая пороги Аудиенсии, с тем чтобы умолить его вернуться... Он был единственным человеком, достаточно знакомым с миром влиятельных людей, чтобы спасти Андреу. «Нандо, ему грозит виселица, приезжай, ради бога, поговори со своими друзьями из военных. Нандо, его же казнят, а я, горемычный, уже не знаю, что и делать. Надеюсь, что дня через два это письмо доставят тебе в Сарагосу».

– Что ж, мне очень жаль... Но я не представляю, чем могу вам помочь.

Патер Пратс снял очки, снова надел их и почувствовал себя до крайности неловко перед этим убитым горем человеком, который пришел к нему с просьбой спасти его сына, как будто он невесть какая важная птица. Он прокашлялся и решил немного поразглагольствовать:

– Видите ли, маэстро Перрамон: в вашем рассказе есть нечто такое... что может произойти только... поймите меня правильно... если человек ведет безнравственный образ жизни.

– Мой сын согрешил, связавшись с этой женщиной, патер... Но он ее не убивал. А в тюрьму его посадили за это.

– Если ваш сын невиновен, он выйдет оттуда живым и невредимым. Но ежели окажется, что он...

– Я знаю, что он невиновен, патер.

– Откуда вы это знаете?

– Он не способен творить зло.

– Ну-ну. Вы разговаривали с адвокатом?

– Да, патер. Но все как об стенку горох. Мне кажется, его не интересует, чем кончится дело. А денег на другого адвоката у меня нет.

– Вы должны довериться правосудию.

– Но Андреу мой сын!

Они несколько мгновений помолчали. Стены кабинета приходского священника на пласа дель Пи⁷⁰ насквозь пропитались словами пришедшего в отчаяние старика. Без сомнения, сыном Андреу приходился только ему, потому что, кроме него и Терезы, его участь всем совершенно безразлична.

– Помогите мне, патер.

– Я человек маленький... Я не знаю, чем...

– Я напроць лишен знакомств, патер. Я не знаю, как сделать так, чтобы влиятельные люди заинтересовались судьбой Андреу... Мне одно осталось – выйти на улицу и криком кричать.

– Минуточку...

Патер Пратс открыл ящик письменного стола, наполняя каждое движение смыслом, чтобы придать происходящему вид некоего таинства. Чтобы успокоить этого беднягу и успокоиться самому. Он обмакнул перо в чернильницу и мышинным почерком накорябал несколько строк.

– Я открываю вам врата Кафедрального собора, – заявил он, закончив, в восторге, что подыскал столь выразительную фразу. – Вот рекомендательное письмо канонику Касканте... – Он забарабанил пальцами по листу бумаги. – Я подал ему мысль познакомить вас с каноником Пужалсом, он там всем заправляет, понимаете? Мы с каноником Касканте вместе учились в семинарии, и в таком одолжении он мне не откажет, понимаете?

Он дал ему бумагу, вне себя от радости, что так легко отделался. В глубине души патер Пратс верил, что за все приходится платить, но как скажешь обезумевшему от горя отцу, смиришься, что раз уж сыну суждено быть повешенным, то, видимо, нет дыма без огня, так сказать.

– Благодарю вас, патер, – произнес маэстро Перрамон, хватаясь за бумагу, как будто в ней заключалась единственная надежда на спасение его сына. – Огромное вам спасибо, патер, – повторил он, склоняя голову.

С бумагой в руке маэстро Перрамон в потемках пересек центральный неф церкви Санта-Мария дель Пи. Разговор с патером Пратсом оставил у него на душе неприятный осадок. Было очевидно, что патер хотел от него отделаться; что поставленная дилемма казалась священнику совершенно неразрешимой. Но самое главное, ему было обидно, что отец Пратс ведет себя так, как будто маэстро Перрамон не прослужил тринадцать лет регентом в капелле; как будто он не стал неотъемлемой частью этого прихода еще до прибытия патера. Как будто ему не были знакомы во всех деталях и стены, и многочисленные закутки этой базилики; как будто он

⁷⁰ *Пласа дель Пи* – площадь Сосны (*кат.*), в испанском произношении пласа дель Пино); расположена в Готическом квартале Барселоны.

не сочинил мотет⁷¹ в честь чтимого *Иосифа Ориола-и-Богуньи*⁷² по настоянию того же патера Пратса; как будто не посвятил время и вдохновенный труд богоугодному делу начала процесса о признании чтимого Иосифа Ориола-и-Богуньи блаженным; как будто не обучал в течение тринадцати лет тринадцать поколений мальчишек тому, как вести себя перед нотным станом; как будто не был любимцем бывшего приходского священника патера Боладереса; как будто руководимая им музыкальная школа не могла похвастаться достойной репутацией в соответствующих кругах, каковой она в действительности и правда щегольнуть не могла, но патеру-то откуда об этом знать; как будто он не написал добрую часть своих ста двадцати трех произведений (шестьдесят девять процентов которых составляли композиции на религиозные темы) перед органом церкви Санта-Мария дель Пи... Маэстро Перрамон чувствовал себя обиженным по всем вышеназванным мотивам и обеспокоенным, потому что письмо было слишком незначительной помощью для того, чтобы принести плоды. Он пойдет в Кафедральный собор: разумеется, он туда пойдет! Он был готов разговаривать с кем угодно: разумеется, стоит поговорить! Но у него не было ни малейшей уверенности в эффективности этих шагов. По всей вероятности, причиной тому являлось вековое недоверие смиренных подданных ко всему, что касается мира власть имущих. Эхо шагов маэстро Перрамона разносилось по опустевшему нефу базилики, и он почувствовал, что дряхл как мир и ничтожен как червь. И слаб.

Как только он вышел на пласа дель Пи, по лицу его потекли слезы мелко морсящего дождя. Он поднял голову, и первым, что бросилось ему в глаза, было здание братства Святой Крови Господней⁷³. Он резко отвернулся от часовни Крови Господней, словно его ударила молния, словно сам вид зловещего дома нес для его сына дурное предзнаменование. На центральном балконе братства стояла дама, одетая в черное, и оглядывала площадь. Она увидела, что через главный вход базилики вышел тощий человечек с листком бумаги в руках. Дама рассеянно проводила его взглядом, нетерпеливо похлопывая по одной руке перчатками, которые держала в другой. Потом с надеждой обернулась: и действительно, дверь открылась, и дон Жузеп Коль улыбнулся верблужьей улыбкой, приглашая ее войти.

– Дражайшая донья Марианна, сердечно рад, – коротко поприветствовал ее бессменный глава братства Святой Крови Господней, организации, с незапамятных времен занимавшейся духовной и моральной поддержкой приговоренных к повешению с христианской щедростью, подразумевавшей, что на нее имели право все те, чьим уделом была смерть на виселице, вне зависимости от их пола, расы, образования, состояния, политических убеждений, прошлого и физического облика.

Религиозный пыл, который они вкладывали в служение, был неизменен, шла ли речь о женщине, обвиненной в краже шести мешков пшеницы с военного склада и приговоренной к смертной казни, или же о голландце, гнившем заживо в тюрьме на пласа дель Блат за то, что уколошил трех или четырех портовых проституток, о которых все давно уже и думать забыли. Или он все же матросов убил? Мужчина и женщина все еще стояли посреди кабинета. Он не предложил ей присесть, и казалось, что ей это было даже на руку. На войне как на войне; не имело смысла обмениваться любезностями, выходящими за рамки минимальной вежливости.

– Я уверена, что нам удастся найти общий язык, – говорила донья Марианна, в точности подражая тому, как вел переговоры муж, – но не стану от вас таить, что мое страстное жела-

⁷¹ *Мотет* – вокальное многоголосое произведение полифонического склада.

⁷² *Иосиф Ориола-и-Богунья* (Жозеф Ориоль, 1650–1702) – испанский католический священник, с 1686 года приходской священник в церкви Санта-Мария дель Пи, прославившийся даром исцеления; при жизни исповедовал жесточайшую аскезу, питаясь только хлебом и водой и уделяя сну не более трех часов в сутки. В настоящее время почитается как святой Католической церкви, «Чудотворец из Барселоны». Был беатифицирован папой Пием VII в 1808 году, а позже, в 1909 году, папа Пий X канонизировал его как святого.

⁷³ *Братство Святой Крови Господней* – основано в Барселоне в 1547 году в часовне Святого Таинства, более известной как часовня Крови Господней, которая находилась в церкви Санта-Мария дель Пи, и до недавнего времени имело официальную резиденцию в доме номер один на пласа дель Пи.

ние состоит в том, чтобы из добровольной председательницы и сотрудницы сделаться полноправной активной представительницей братства. Мое... мое религиозное чувство вдохновляет меня следовать этой стезей в сфере благотворительности.

– Я ничуть не сомневаюсь, – дон Жузеп Коль был выдающимся оратором как на публике, так и в более узких кругах, – что духовное стремление, движущее вами, донья Марианна, является проявлением благочестия. Ничуть в этом не сомневаюсь и не имею причин сомневаться. – Прекрасная вышла фраза.

– Так в чем же дело?

– Дело в том, что... что никогда еще не было... ни одна дама еще не становилась членом братства. Никогда. Для этого еще... еще и названия не существует.

– Что ж, давно пора, чтобы оно появилось.

– Но, донья Марианна!.. Вы хотите поставить меня в затруднительное положение... Важные лица в составе братства могут возмутиться... И, кроме того, зрелище смерти не приличествует дамам, сударыня...

– Мне все понятно: Вас Запугали Важные Члены Братства. – В минуты особой важности донья Марианна имела обыкновение произносить каждое слово с большой буквы. Она выпрямилась и решительным жестом надела перчатку. – Тогда Вы, Несомненно, Почувствуете, Насколько Весомо Влияние Моего Супруга.

– Донья Марианна! Не стоит доводить дело до подобных крайностей!

– Я не хочу доходить до крайностей. Однако вы меня к этому вынуждаете. – Она надела вторую перчатку с намерением сделать вид, что уходит. – И знайте, дон Жузеп, смерть никогда меня не страшила.

– Всегда остается возможность пересмотреть устав... – попытался обойти подводные камни дон Жузеп, которого еще мучило от угрозы вмешательства этого хорька из Аудиенсии.

– Не сомневаюсь, что можно его пересмотреть.

– И я могу вам гарантировать, дражайшая донья Марианна, что лет через шесть или семь мы найдем решение, которое всех удовлетворит.

– Кто знает, где мы будем через шесть или семь лет. Мое желание состоит в том, чтобы считаться членом братства не через шесть или семь лет, а через шесть или семь дней. И я могу назвать вам имена еще пяти дам, также в этом заинтересованных.

– Но как же... ведь я должен посоветоваться...

– Посоветуйтесь. – Она сухо кивнула. – Я очень рада, что мне удалось с вами переговорить, дон Жузеп. Мои приветствия вашей супруге.

И отправилась восвояси с высоко поднятой головой и гордым сердцем.

– Обязательно передам, – отвечал сбитый с толку дон Жузеп, жена которого отошла в мир иной уже два года тому назад.

И как только супруга Верховного судьи исчезла из виду, начал гадать: «Как же я сообщу всем остальным, что по высочайшему велению женщины стали полноправными членами братства. Только со мной такое могло случиться, будь они прокляты, все виселицы в мире».

Всю дорогу домой она молчала, смиренно перенося толчки кареты, едущей по неровной дороге. Разумеется, она, одна из самых важных дам в городе, и по званию, и по состоянию, была в бешенстве. Ей крайне нелегко давалось сносить, чтобы Коль, эта марионетка, вставлял ей палки в колеса. Донья Марианна всегда стремилась достичь максимальных высот, и с тех пор, как ее мужа назначили председателем Аудиенсии (после нескольких недель тревоги и противоречивых слухов), она не только поставила свечу чтимому Иосифу Ориоле, но и решила испросить, чтобы ее приняли в братство Крови. В подражание ей с той же просьбой обратились еще восемь или десять дам: присутствие женщин в братстве стало неизбежной реальностью.

Какие же причины побудили ее к тому, чтобы предпринять этот шаг? Возможно, определенное желание равновесия, принимая во внимание, что ее почтенный супруг превратился, по своей должности, в прямого поставщика будущих висельников; возможно, то, что за участие в деятельности братства предоставлялись щедрые и основательные индульгенции (не только частичные, но и полные, при сопровождении висельника до самого эшафота), а они всегда могли понадобиться в момент восхождения в царство небесное. А может, причина крылась и в необходимости чем-нибудь заполнить долгие часы, ведь не целыми же днями наносить и принимать визиты. Хотя распорядок дня доньи Марианны уже давно был выстроен под звон трех десятков бронзовых колоколов: она вставала под бой Авроры из церкви Сан-Франсеск, расположенной ближе всех. Потом наскоро умывалась, брала молитвенник и надевала мантилью под звуки Глории из монастыря капуцинов⁷⁴ и не выходила из дому, пока не раздавался размеренный звон Карлоты из церкви Санта-Моника. В семь утра она с безропотным благоговением слушала мессу в церкви Сан-Франсеск под аккомпанемент нежного, женственного перезвона колоколов, которые они с доном Рафелем принесли в дар святому Франсеску, когда переехали на улицу Ампле и дела шли хорошо. Когда донья Марианна возвращалась с мессы домой, ее супруг уже не спал и разгуливал по своей половине в утреннем дурном настроении или же по всему дому в поисках Турка («куда запропастился Турок», а донья Марианна отвечала ему: «зачем он сейчас тебе понадобился, этот Турок») или же ругался во все горло, «не докричишься ни до Ипполита, ни до кого другого, и к чему, спрашивается, столько прислуги», и кашлял и чихал, потому что без парика голова у него мерзла. Они с супругой обычно завтракали каждый по отдельности, потому что она долго за едой не задерживалась, а дон Рафель, когда садился за стол, еще толком и не знал, чего хочет. Распоряжаясь на кухне и следя за уборкой дворца, донья Марианна слышала веселый перезвон колоколов, оповещавших о крестинах, «гляди-ка, девочка; мне кажется, что крестят ее в церкви Санта-Мария дель Мар, или глухой и мрачный бой колокола Антонии с пласа дель Пи, оповещавшего, что вдовец пятидесяти семи лет только что скончался, и тогда она шла сообщить новость супругу и не давала ему спокойно допить горячий шоколад, «дон Рамон-то, бедняга, преставился», а тот, «да откуда ты знаешь?». А она, «по звуку Антонии», и дон Рафель возражал, что, может быть, колокол звонит по кому-то другому; но что толку тягаться с доньей Марианной, по части приходских новостей никто не мог ее переплюнуть, потому что, «уверю тебя, во всем приходе Санта-Мария дель Пи не было других больных этого возраста, я в этом совершенно уверена», и дон Рафель откусывал кусочек савоярди, чтобы не спорить, потому что в этих вопросах, как и во всем остальном, его супруга всегда оказывалась права. И тут же она спускалась в домашнюю часовню, потому что, когда этот дом принадлежал семейству Рокамора, у них была часовенка, и после того, как дворец купили супруги Массо, донья Марианна наотрез отказалась ее перестраивать. Часовня находилась в угловой комнате, холодной, маленькой и темной, с разноцветным витражным окном, изображавшим, к вящему недовольству дон Рафеля, герб семейства Рокамора. («Как-нибудь нужно будет приказать, чтобы его заменили на наш герб». – «У нас нет герба, Рафель». – «Значит, придется его изобрести».) Часовня была расположена в нижнем этаже, рядом с просторной приемной и возле одной из дверей в сад. В ней находился маленький алтарь, в котором было больше символического значения, чем пользы, потому что мессу на нем никогда не служили. На стенах висели два потемневших полотна валенсийской школы, стоившие дороже, чем могли себе представить их владельцы: на одном было изображено покаяние святого Иеронима⁷⁵, а на другом – святая Евлалия⁷⁶. Рядом с алтарем хранился предмет

⁷⁴ Скорее всего, имеется в виду монастырь капуцинов Санта-Мадрона в Готическом квартале Барселоны, сгоревший в 1835 году.

⁷⁵ *Иероним Стридонский* (342–420) – святой Католической церкви, аскет, создатель канонического латинского текста Библии, церковный писатель.

⁷⁶ *Евлалия Барселонская* (лат. *Eulalia Barcinonensis*; 290–304) – святая Католической церкви, 13-летняя девочка из числа

самозабвенного поклонения доньи Марианны, картина Тремульеса маслом (чтобы гости оценили ее художественные достоинства, она обычно говорила им «семнадцать серебряных дуру, не считая рамы», и дону Рафелю хотелось провалиться сквозь землю): образ чтимого Иосифа Ориола-и-Богуньи, перед которым донья Марианна десятки раз вздыхала, плакала и находила утешение.

Итак, донья Марианна, услышав, что Антония с колокольни Санта-Мария дель Пи оповещала о том, что дон Рамон Креус, пятидесяти семи лет, живший на улице Баньс Ноус⁷⁷, скончался после долгой и изнурительной болезни в присутствии своего духовника, бегом спустилась в домашнюю часовенку, чтобы засветить лампаду чтимому Иосифу Ориоле и прочесть молитву Господню за спасение души дона Рамона и за просветление собравшегося конклава⁷⁸, который, поговаривали, все никак не мог избрать папу римского. Она прочла «Отче наш», перемежая его славословиями и молитвами Пресвятой Деве, и на душу ее снизошло умиление, как случалось всякий раз, когда она молилась перед благословенным образом Исцеляющего Хлебом и Водой, которого Церковь, с присущей ей медлительностью, все еще не торопилась признать блаженным, несмотря на требования народных масс. Тут донья Марианна обнаружила, что все свечи в лампадах догорели, и послала Селдони к восковых дел мастеру, «и не задерживайся, у меня срочное дело».

В полдень звон колоколов, оповещавших, что пора читать молитву Ангелу Господню, снова разносился по бронзовому небу Барселоны. Их звуки проникали через открытые и закрытые окна дворца Массо, смешиваясь с отголосками эха, и различить их становилось почти невозможно: нежное звучание колокола церкви Санта-Моника тонуло в торжественном и величественном гуле, раздававшемся с колокольни Кафедрального собора, и им вторил мощный колокол близлежащей церкви Сан-Франсеск, с которым сливался вечно любимый бархатный тембр Висенты с пласа дель Пи. Донья Марианна, заслышав этот перезвон, бросала все свои дела (уборку в шкафах, ведение домашней экономии с Гертрудис, вышивание новых полотенец), читала «*Angelus Domini nuntiavit Mariae*»⁷⁹, а по окончании молитвы всплескивала руками и восклицала, что его честь вот-вот прибудет, а стол еще и не накрыт.

В доме Массо обед всегда подавали в большой столовой, окна которой выходили на улицу Ампле. На шестиметровом столе, возле которого в старое время, в тех редких случаях, когда за ним обедало семейство Рокамора, слышался смех ребятни и беготня прислуги, по приказу четы Массо стелили льняные скатерти и расставляли бронзовые канделябры. Супруги усаживались на противоположных концах стола, подражая обычаю маркиза де Крешельса, а также маркиза де Досриуса до того, как он овдовел, а по слухам, и губернатора, и графа Пуатена, купившего себе особняк у пласа Сан-Себастиан и, говорят, так роскошно его обставившего, что недурно было бы как-нибудь сходить да посмотреть. В доме Массо, то есть во дворце Массо, никто не рассуждал о том, удобно ли поступать так, как заведено в чужих домах. Положено – и все тут. Всякий знает, что переход в благородное сословие любой переносит болезненно, даже самые состоятельные мещане. Донья Марианна обедала с зачастую безмолвным доном Рафелем в присутствии трех подбострастных лакеев, прислуживавших им под надзором Ипполита. После обеда господа переходили в гостиную, где муж некоторое время клевал носом, перед тем как запереться у себя в кабинете, чтобы неизвестно чем там заниматься, а жена шила и после этого удалялась к себе, чтобы ненадолго прилечь, дожидаясь, когда колокола оповестят

раннехристианских мучеников, принявшая смерть в эпоху Римской империи во входившей в ее состав провинции Барселона (в то время носившей название Барсино) за исповедание христианства. Святой Евлалии посвящен Кафедральный собор Барселоны (готический, в старом городе).

⁷⁷ Новых Купален (кат.).

⁷⁸ Имеется в виду так называемый Папский конклав 1800 года, который последовал за смертью папы римского Пия VI 29 августа 1799 года и привел к избранию 14 марта 1800 года следующего папы – Пия VII.

⁷⁹ «Ангел Господень возвестил Марии» (лат.).

ее о том, что в церкви Санта-Моника скоро начнется чтение молитв по четкам; колокола дель Пи начинали трезвонить на пятнадцать минут позже, а значит, у нее оставалось время прихорошиться, чтобы еще через полчаса приступить к молитве Святого Розария⁸⁰ в церкви на пласа дель Пи, куда она ходила потому, что патер Пратс проводил службу с несказанным благолепием. Если была среда или пятница, то дон Рафель, вплоть до происшествия, приключившегося бог знает сколько месяцев назад, отлучался в любовное гнездышко. Но это донье Марианне было неизвестно, потому что по возвращении с молитвы Святого Розария все ее внимание занимали визиты, «ах, нет в этой жизни ни минуты покоя». Она никогда не задумывалась, потому что на это у нее не оставалось времени, не входит ли в ее обязанности любить мужа. Супружеский долг свой она считала исполненным, и если детей Бог им не дал, то, видно, не судьба, и дело с концом. Большого никто от нее требовать не мог. И поскольку она беззаветно устремляла все свои желания на ежеминутное служение Господу, дел у нее было неувпоровот: ей и в голову не приходило мучиться от какой бы то ни было тревоги, чувства вины или отсутствия любви. Любовью ее наполняли Всевышний и Пресвятая Дева. И апостолы, и все святые. Чем не предел мечтаний? А для того, чтобы пооткровенничать, у нее был и патер Пратс, ее исповедник, и самые что ни на есть близкие подруги, которые всегда ей говорили, «я никому ни слова, Марианна, расскажи, расскажи». Можно, конечно, было задуматься, зачем она вообще вышла замуж за дон Рафеля. Но этот вопрос не имел никакого смысла, потому что по прошествии времени после свадьбы большинство супружеских пар не имеют ни малейшего понятия, что на него ответить. Главное – жить сегодняшним днем. Так минула четверть века, и у доньи Марианны не было никаких особых причин подозревать, что следующие двадцать пять лет она проведет по-другому. Откуда ей было знать, что ее супруг – колосс на глиняных ногах.

Седьмой по счету председатель Королевской аудиенсии провинции Барселона и второй из верховных судей, получивших эту должность не потому, что в его жилах текла голубая кровь, а благодаря своим профессиональным заслугам, первым из королевских судей эпохи Бурбонов влюбившийся в свою соседку донью Гайетану, баронессу де Черта, с досадой вздохнул и высморкался. Он выехал из города заранее, чтобы развеяться перед встречей с доктором Далмасесом, оставив беднягу Ровиру, своего секретаря, расхлебывать кашу в Аудиенсии. Его честь хранил полное инкогнито и путешествовал в сопровождении одного только кучера, да еще Ипполита в качестве грума. В десяти метрах от них, по грязным ноябрьским улицам, промозглым, серым и печальным, проворно и грациозно бежал его немецкий дог, вызывавший зависть и восторг у многих жителей Барселоны. Карета выехала через ворота по направлению Оллерса и вскоре оказалась на довольно крутом подъеме, ведущем на гору Монжуик. Дон Рафель приказал остановить экипаж, не доезжая полпути до верха, и ждать его там. А сам пошел пешком; Турок не отставал от него ни на шаг. Дон Рафель добрался до карниза Мирамар, с которого открывался вид на всю Барселону и на море. Место было совершенно безлюдное; слышалось только частое дыхание пса и щебетание редких зябликов и малиновок, которых еще не спугнули холода. Солнце, тоже хранившее инкогнито, пряталось за толстым слоем печальных облаков. Ничто не нарушало покоя окружавшего пейзажа. Легкий морозный ветерок тоже утих. Дон Рафель поежился и поднял воротник камзола, чтобы не мерзли уши.

– Ну и как это тебе, Турок?

– Уаааарр, – вежливо зевнул немецкий дог.

Скорее всего, ему было совершенно непонятно, о чем идет речь. На самом деле под этим «ну и как это тебе, Турок» его честь подразумевал: ты представляешь, такой огромный город, если сравнить его, к примеру, с Сан-Адриа или Бадалоной, виднеющимися на горизонте; город,

⁸⁰ *Розарий* (лат. *rosarium* – «веночек из роз») – традиционные католические четки, а также молитва, читаемая по этим четкам.

который уже дважды вырвался за пределы стягивающих его крепостных стен и медленно, но верно подбирался к Монжуику; такой перенаселенный (сто двадцать тысяч двести сорок три обитателя, согласно докладу главного судьи Второй палаты), донельзя наплодивший ремесленной бедноты и всяческой швали, только и ждущей удобного случая, чтобы восстать против власти его величества; город, где пруд пруди хитрых торговцев, вечно себе на уме, вечно норовящих отвесить тебе поменьше, уверяя, что нигде не найдешь цены дешевле, убедивших полмира заключить с ними сделки; город, где на каждом шагу натыкаешься на промышленников, производящих тысячи разнообразных товаров и трудящихся от зари до зари, чтобы обогатиться так, что смотреть противно; город, напивавшийся новой кровью ни гроша за душой не имевших младших сыновей сельских помещиков со всей Каталонии, которым по традиции не полагалось наследовать родительский дом и земли и посему стекавшихся в столицу попытать счастья, отучиться в семинарии или в университете или же, в свою очередь, превратиться в ремесленников, день за днем пополнявших ряды неуправляемой толпы, беспрестанно готовой возмутиться; город, где не счесть переполненных больниц, в которых непочатый край страдания, перемешанного с нищетой; город, настолько забытый Богом, что помои в нем текут по улицам, и в то же время богатый, потому что сто двадцать тысяч двести сорок три его жителя работают в нем без устали; город, повернувшийся лицом к морю, с тех пор как сняли запрет на торговлю с Америкой... В двух словах: дон Рафель не мог поверить, что такой город мог произвести нечто столь изумительное, как донья Гайетана. Почтенному судье это казалось чем-то совершенно невообразимым. Вот что он имел в виду, когда сказал «ну и как это тебе, Турок». Немецкий дог, не желая нарушать мечтательного настроения хозяина, отошел на несколько шагов, чтобы помочиться на ствол каркаса южного⁸¹. Дон Рафель поглядел на мачты кораблей, пришвартованных к причалу. Издалека не было заметно, как они покачиваются на волнах, но он себе это представил. С этой точки можно было разглядеть всю улицу Ампле, его дом и гнездышко доньи Гайетаны. Его честь снова вздохнул и переключился на другую сторону вопроса: нелегко признаться себе самому, что он влюбился в такую молоденькую красавицу, так сказать, почти ребенка. В его-то лета. При его положении в обществе... Дон Рафель долго глядел на часы: очки он носить категорически отказывался. Пора было не спеша направляться в обратный путь, в Барселону, чтобы вовремя успеть на встречу с доктором Далмасесом у входа в больницу. Он поднял голову: накрапывал дождь.

Год состоит из трехсот шестидесяти пяти дней. Если вычеркнуть из их списка пятьдесят две пятницы и пятьдесят три воскресенья, которые не в счет, потому что пятницы посвящены распятию Иисуса Христа, а воскресенье – день Господень, остается двести шестьдесят. Необходимо тут же вычесть из них все дни Великого поста, или же Четыредесятницы, которых, как всем известно, сорок; но поскольку мы уже вычеркнули *motu proprio*⁸² все пятницы и воскресенья в году, то для наших подсчетов их получается тридцать. Если их вычеркнуть из двухсот шестидесяти, получится целых двести тридцать прекрасных дней. Но календарь безжалостно заставляет нас пожертвовать днями святого Иосифа, святого Иоанна, святого Петра, святого Иакова, Успения Богородицы и святой Евлалии Барселонской – остается двести двадцать четыре дня. Несмотря на это, поскольку богоугодные обычаи требуют от нас богоугодной жизни, судьба с незапамятных времен выделила шесть неприкосновенных, деликатных, полных жертвенного служения и материнской любви дней менструального цикла; принимая во внимание, что у среднестатистической женщины менструация наступает тринадцать и тридцать пять тысячных раз в год (а каждый цикл длится в среднем двадцать восемь дней), умножив на шесть дни менструации, которые являются неприкосновенными, полными жертвенного

⁸¹ Каркас южный (лат. *Celtis australis*) – вид цветковых растений рода каркас семейства коноплевые.

⁸² По собственной инициативе (лат.).

служения и так далее и тому подобное, мы получаем семьдесят восемь целых дней и двадцать одну сотую дня (которые мы для простоты подсчетов сократим до семидесяти восьми). Если вычесть их из оставшихся двухсот двадцати четырех, остается вполне почтенное количество ста сорока шести дней, теоретически пригодных для безгрешного и благословенного Церковью единения супругов в рамках христианского брака и предоставленных дону Рафелю для попыток как следует прижаться к донье Марианне. Однако опыт показывает, что не все дни, приемлемые для интимного союза, являются таковыми на деле, поскольку временами ему препятствует мигрень или некстати накатившаяся усталость, временами слишком затянувшаяся вечерняя молитва, временами неожиданный отъезд или легкое, не такое уж и легкое, достаточно серьезное или и вовсе основательное расстройство здоровья (сицилийский грипп, ангина, простуда, энтерит). Таким образом, возможность супружеской любви снижается до ста двадцати дней в год, что, если прикинуть на глазок, означает, что она может иметь место каждые два и девять десятых дня. То есть каждые три дня. Вовсе неплохо придумано, каждые три дня. Вполне разумно, а в какие-то моменты даже слишком часто. Каждые три дня. Гляди-ка. Только на самом деле все происходит далеко не так, а как придется, и никто этих подсчетов не делает, и если мужчине с темпераментом и конституцией дона Рафеля было бы желательно поддерживать интимную связь пару раз в неделю, выходило так, что ему, как нарочно, постоянно удавалось прозевать все подходящие и правильные дни, и он приставал к супруге как раз в те дни, когда заняться этим было никак невозможно. «Рафель, да что с тобой такое, только об одном и думаешь». А он: «Но, Марианна, бога ради, зачем же мы тогда поженились, если даже не можем...» А она, обуянная праведным гневом: «Рафель, если Господь не дал нам детей, то сейчас нам во всем этом нет никакой надобности. И к тому же заруби себе на носу, что целью брака является вовсе не это». — «Ах нет? Нет так нет». Это «нет так нет» и привело к тому, что дон Рафель завел себе Эльвиру. В каком-то смысле все оказались в выигрыше, потому что донью Марианну перестал преследовать, как распаленный сатир, ненасытный супруг. Дон Рафель заручился ста пятью средами и пятницами в год для того, чтобы «заморить червячка», и к тому же сладость запретного плода щекотала его самолюбие. Посредством этого союза Эльвира превращалась из швеи в мастерской Вознесения в шикарную содержанку судьи Массо, будущего председателя Аудиенсии. И жизнь в доме Массо потекла спокойно и блаженно. А дон Рафель влюбился в Эльвиру. Так все и вышло, бедняжка моя. А теперь настала очередь доньи Гайетаны недоступной. Карета дона Рафеля уже подъехала к больнице, где всеми уважаемый астроном зарабатывал себе на жизнь, подрабатывая хирургом, и судья приказал кучеру притормозить.

И вот экипаж его чести снова пустился в путь, с трудом продвигаясь по улице Рек. Кучер пытался, по мере возможности, не наезжать на бесчисленных прохожих, слонявшихся по ней в этот час. В карете дон Рафель Массо объяснял стоявшую перед ним дилемму доктору Жасинту Далмасесу.

— Я и не подозревал, что ваш интерес к астрономии до такой степени всеобъемлющ, дон Рафель.

— Я всего лишь дилетант, доктор Далмасес, — отвечал судья, сам себе не веря. — Но мной все еще движет желание наблюдать за перемещением небесных тел.

— Небеса... Луна, звезды, высотные облака, сидерическое вращение планет, — радостно оседлал любимого конька профессор Далмасес. — На просторах небесного свода нас ждет множество открытий. По нему мы можем пускаться в невероятные путешествия... Мне часто приходило в голову, что для познания неведомых миров нет необходимости никуда уезжать... Достаточно дожидаться наступления ночи, при условии, что небо не затянуто тучами... Вам не кажется?

— Да-да... Вы правы! Сколько дней еще продлится это ненастье?

– Сельские жители говорят, что как минимум несколько недель... Что этот дождь нас всех с ума сведет... – Доктор Далмасес почесал нос с таким видом, как будто рассуждения о погоде были частью ученого диспута. – Однако, возвращаясь к занимающему нас вопросу, мне думается, что вам нет необходимости приобретать инвертор изображения. У небесных тел нет ни верхней, ни нижней части, ни левой стороны, ни правой; астрономические объекты абсолютны... Да и Земля обладает теми же самыми характеристиками... Но мы так привыкли считать, что север вон там...

– Разумеется, но ведь север всегда остается на севере, в верхней части земного шара, не так ли? – прикинулся тупицей дон Рафель. – Мы не можем представить себе север, расположенный по пути в Африку. Это был бы южный север.

– Возьмите глобус и переверните его вверх ногами, – улыбнулся ученый. – Теперь Африка ближе к северу. А Земля ничуть не изменилась.

– Но мы перевернули ее вверх ногами. – До чего же унижительно притворяться невежей.

– Достопочтенный дон Рафель, оставьте на минутку в дальнем уголке свой юридический образ мысли и подумайте о небесных телах хладнокровно. Я имею в виду, что любое представление о правом и левом, о севере и юге относительно. Не сделались же вы вдруг сторонником невероятных теорий дона Феликса Амата⁸³.

Дон Рафель подавил нетерпеливый вздох. Его неприятно поразило сравнение с доном Феликсом и его теориями прозрачных сфер. Но по правде сказать, в те минуты судьбе была до крайности безразлична относительность расположения частей света и прочие изыски этого зануды-доктора Далмасеса, про которого даже поговаривали, что он франкмасон, так что «я, если честно, на его месте вел бы себя поосторожнее». А ведь дон Рафель сразу же и прямым текстом объяснил: единственное, что ему необходимо, – это приобрести инвертор изображения, и все тут. К сожалению, никто другой, кроме доктора, не мог ему в этом помочь.

– Значит, вы сможете достать мне инвертор изображения?

– Он уменьшит четкость: чем меньше стекол и зеркал стоят между объектами и глазом...

– Мне хочется видеть Луну такой, какая она есть...

Доктор Далмасес деликатно промолчал и поглядел в окно кареты. Этот червяк дон Рафель был ему основательно неприятен. Но было бы недостойным умного человека дать понять, что общество судьбы для него утомительно, и с чего ему в голову взбрело исправлять инвертированное изображение, такая ерунда для совершеннейших дилетантов, да и те не стали бы с этим связываться. Как пить дать, он с этим инвертором затеял что-то другое.

– Ну что ж, – обреченно вздохнул он. – Остановите карету возле моего дома, и мой инвертор к вашим услугам... Надеюсь, он подойдет к вашему телескопу...

– Премного благодарен. – Ну наконец родил, подумал дон Рафель. – Но я бы предпочел у вас его купить. Тогда я смогу им пользоваться всегда, когда захочу.

– Вы меня неверно поняли: я вам его дарю.

– Я не могу принять такой подарок.

– Прошу вас.

«Пусть делает что хочет, – подумал дон Рафель. – Какая мне, в сущности, разница». Кроме того, они уже подъехали к пласа дельс Тражинерс⁸⁴.

– Отлично, доктор Далмасес. Вы меня убедили.

Судья несколько раз постучал по крыше экипажа, и тот остановился в самом центре маленькой площади. Шмыгавший носом мальчишка с интересом уставился на дым, шедший из конских ноздрей. Доктор Жасинт Далмасес вышел из кареты, заверив своего спутника, что все

⁸³ *Феликс Торрес Абат* (1772–1849) – испанский епископ, по повелению короля Карла IV перевел Библию на испанский язык. Помимо перевода Библии, наиболее значимым его трудом считаются «Отчеты», которые помогают составить критический словарь каталонских писателей и дают некоторое представление о древней и современной литературе Каталонии.

⁸⁴ Площадь Возниц (*кат.*).

будет готово через минуту, и дон Рафель довольно улыбнулся. Когда слуга доктора вернулся с коробочкой в руках, сопливый мальчишка все еще размышлял, что горит у коня внутри. Экипаж его чести тронулся и загромыхал по мокрой мостовой. Дон Рафель заполучил желанный инвертор, а любопытного мальчугана, стоявшего посреди площади, с ног до головы обдало грязью из-под колес кареты, ох и задаст ему мать, когда его увидит.

Дон Рафель захлопнул книгу, которую держал в руках, не читая, и зевнул. После обеда он разомлел. Обычно такое случалось с ним в кресле возле камина в то время дня, когда думаешь, что жизнь хороша. Отругав слуг и служанок (одному лишь Ипполиту удавалось избежать приступов гнева хозяйки), донья Марианна всегда садилась в свое кресло рядом с супругом, чтобы повязать крючком.

- Есть что-нибудь новое о деле де Флор?
- Убийцу уже арестовали. Какой-то сумасшедший.
- Ах, какой ужас! Кто же он такой?

– Ты его не знаешь. И к тому же это дело *sub judice*⁸⁵. Отличный предлог для того, чтобы ничего не рассказывать жене или чтобы еще пуще раздражить ее любопытство. Дон Рафель вздохнул. В глубине души он надеялся, что донья Марианна скажет, отлично, пойду-ка я прилягу, и этим развяжет ему руки.

- Но ты же можешь сказать мне, кто он такой!

- Просто человек, Марианна!

- Ты нарочно так говоришь, чтобы меня позлить.

– Превосходно!.. Да-да, так оно и есть! – Дону Рафелю было досадно, что нарастающее возбуждение может развеять его сладостную дремоту. – Выходит, самое важное лицо в судебной системе Каталонии – да? – хочет позлить свою жену и...

– Ладно-ладно. – Она вскочила как ужаленная, донельзя обиженная. – Пойду-ка я прилягу. Если ты, в твоём возрасте, ещё что-то скрываешь от жены...

– Превосходно, Марианна. – Вставать он не стал и сделал вид, что хочет подремать. – Ты же сказала, что хочешь пойти прилечь? Мне нужно будет уединиться на некоторое время в кабинете, как раз для того, чтобы поработать над этим делом.

Донья Марианна вылетела из гостиной, как фурия. Дон Рафель вздохнул, дождался, пока последняя полная негодования складка платья доньи Марианны исчезнет в дверном проеме, и встал. Судья глубоко зевнул и направился в соседнюю комнату, в которой у него было нечто вроде кабинета с несколькими книгами по правоведению, а на стене висел его портрет, написанный Тремульесом. Он запер дверь на ключ и облегченно вздохнул. Потом подошел к телескопу и навел объектив. Чуть приоткрыл легкую занавеску и сел. Вслед за тем осторожно развернул инвертор изображения и приладил его к аппарату. Посмотрел в окуляр и довольно поцокал языком. Бывает же в жизни такое... Из окна его кабинета с максимальной четкостью открывался вид на кровать баронессы де Черта. Во дворце де Черта, стоявшем на противоположной стороне улицы, словно нарочно, потолки были чуть ниже, так что глазам его чести открывалось прекрасное зрелище. Так он узнал, что донья Гайетана имела обыкновение отдыхать после обеда; что жалюзи она закрывать не велела; а при этом особой стыдливостью не отличалась, поскольку занавески всегда были задернуты кое-как. Что для послеобеденного сна красавица раздевалась и, сбросив бесчисленные слои тканей, оставалась в одной тоненькой сорочке. Что двадцать седьмого сентября, после обеда, она наставила ветвистые рога своему тупоумному мужу с молодым человеком, которого дон Рафель не признал. И ему показалось, что в тот памятный день супружеской неверности ему удалось увидеть ее полностью обнаженной. С тех пор он решил наблюдать за ней в телескоп. Потому что влюбился... И этот караул он

⁸⁵ В руках судьи (*лат.*) – не подлежит разглашению.

нес с неколебимой верностью. Его несказанно унижало, что линзы этих приборов показывали все вверх ногами, но вся его душа ликовала, думая о том дне, когда донье Гайетане вздумается отдохнуть после обеда в тот час, когда ему удастся стоять на страже. Ну же! Ну же! Да! Дон Рафель в волнении придвинулся к объективу. Да, так и есть, дверь открылась, и – ах! – на пороге появилась донья Гайетана и зевнула, «ах ты ленивица моя, грудки, словно яблочки... Давай-ка, потаскушка, перед людьми-то ты не такая... Ох-ох...» Донья Гайетана начала расстегивать юбку, и дон Рафель проклинал разделявший их воздух улицы. «Ух, ух, ух какая, ух!» У дон Рафеля слюнки текли: «Гайетана моя, ведь кажется, что до тебя рукой подать, какое наслаждение... Почему бы тебе не раздеться догола, моя любезная? Давай, ведь, кроме нас с тобой, никого здесь нет... Давай, любовь моя... Давай, не бойся!..»

– Ваша честь.

Негромкий стук в дверь кабинета и голос Ипполита.

– Что там стряслось? – ответил донельзя рассерженный дон Рафель. – Вы что, не знаете, что в эти часы я занят?

– Срочная депеша из Верховного суда.

Дон Рафель переставил телескоп на другое место, снова сел на тот же стул, что и раньше, поспешно разбросал несколько бумаг по столу и сел в кресло.

– Сейчас открою, – сказал он, еще раз вставая. – Никакого уважения к интеллектуальному труду. – Он повернул ключ в замке и открыл дверь. – Что такое? К чему вся эта спешка?

За спиной Ипполита он разглядел ненавистную фигуру полицмейстера, этого не-пойми-какого де Сетубала, от которого лучше держаться подальше. Дон Рафель улыбнулся и, не давая Ипполиту ни слова сказать, воскликнул: «Ах, проходите, проходите, суперинтендант! Что вы, что вы: какой сюрприз!» – и дон Херонимо Мануэль Каскаль де лос Росалес-и-Кортес де Сетубал вошел в кабинет дон Рафеля, не отвечая на улыбку.

– Дело крайне щепетильное, ваша честь. – Полицмейстер молча дождался, пока дон Рафель закроет дверь, подойдет к столу с другой стороны, сядет и пригласит присесть его. После этого дон Херонимо вынул из кармана мятый конверт и положил его на стол. – Мы произвели обыск в доме задержанного по делу мадам де Флор. Вот что мы у него нашли.

Дон Рафель с любопытством и страхом развернул сверток, с недоверием в кончиках пальцев. Он тут же понял, что это такое. В приступе паники кровь отхлынула у него от головы, и его замутило.

– Откуда этот тип его взял? – заикаясь, пролепетал он.

– Этого мы пока не знаем. Надлежит его допросить.

– Нет!

Этот возглас со стороны дон Рафеля стал проявлением крайнего неблагоприятия. Сетубал тут же помножил в уме ту сумму, на которую рассчитывал за крайнюю деликатность в оказании соответствующих услуг, на два. Впрочем, после недолгих переговоров джентльмены пришли к соглашению: один обещал ни словом не упоминать злополучный сверток; другой – не забывать об оказанной ему услуге, что стоило шести тысяч реалов, которые дон Рафель должен был оторвать от сердца и, не говоря об этом ни одной живой душе, вручить полицмейстеру сомнительного португальского происхождения. Сам Сетубал предложил предъявить вместо найденных документов бумаги антимонархического содержания, чтобы усложнить обвиняемому жизнь, «а двое моих полицейских, которые их обнаружили, немые как могила, ваша честь; тут уж вы можете быть спокойны, ваша честь». Полицмейстер улыбнулся волчьей улыбкой. А видение спящей доньи Гайетаны рассеялось как дым, поскольку в четыре часа этого ноябрьского дня уже наступили сумерки – по крайней мере, в душе почтенного судьи.

Хотя и в любом уголке здания в восемь часов вечера царила крошечная тьма, в вонючем подвале, где в земле были вырыты ямы для камер особо опасных преступников, темнота

была густой, непроницаемой, полной. Андреу, облокотившись на стену, из которой сочилась вода, дышал неровно. Он не знал, сколько сейчас времени, не знал, наступило ли завтра или же еще позавчера. За часы, проведенные в обществе сокамерников, он узнал, что некое подобие мешка, молчаливо гниющее в двух шагах от него, – это голландский моряк, обвиненный в том, что из-за женщины убил своего товарища-генуэзца; похоже, он не имел ни малейшего желания разговаривать или вступать в какое бы то ни было общение. Еще Андреу узнал, что болтун, встретивший его пространной речью, с наступлением темноты упрямо замыкался в себе, и от этого все окружающее становилось еще невыносимее. А больше ничего; по всей видимости, в камере находилось еще три или четыре человека; для Андреу они были всего лишь кашлем, парой проклятий и редким вздохом, испущенным в безнадежности этой темницы. Облокотившись на стену, Андреу все думал и думал, как же такое могло случиться. В глубине души заключенный верил, что с минуты на минуту распахнется дверь камеры и кто-то выпустит его на волю, цедя меж зубов какие-то дежурные фразы или извинения, которые он без промедления примет. Однако с момента его ареста прошло столько времени, и до сих пор ничего не прояснилось. Кто знает о том, что произошло? Кто... кто мог бы сейчас обивать пороги для того, чтобы его положение изменилось? Тот странноватый крючкотвор, который должен его защищать и уверен в том, что он виновен? На него надежды не было. Кто же еще? Ах, если бы Нандо не уехал... Об отце Андреу даже не думал, потому что не мог себе представить, что тот способен сделать в жизни хоть что-либо практичное. А больше никто ему в голову не приходил... а ведь он так гордился, что живет жизнью барселонского отшельника. В глубине души он уже знал, что те, на чью помощь он мог бы рассчитывать, совершенно для такого дела непригодны. Его приводило в отчаяние то, что он понятия не имел, кто и каким образом попытается добиться, чтобы улучшилось его, столь абсурдное, положение. Круг его друзей, если не считать Нандо, составляла кучка таких же молодых людей, которые, без гроша за душой, но с уверенностью, что обладают литературным или музыкальным даром, научились с недоверием поглядывать на творчество Недоверчивых⁸⁶ и их наследников и были уверены, что написанное ими самими непременно войдет в историю: одна из характерных черт молодости. Андреу не входил ни в одну из организаций или кружков, которые могли бы активно отреагировать на его исчезновение. В иные минуты этой нескончаемой недели беспрестанного пережевывания тюремной тоски юношу охватывало сильнейшее ощущение того, что он похоронен заживо, потому что никто во всем мире не знал, что он заточен в этой могиле; а те, кому это известно, ничем не могут ему помочь... А сеньора Розета? Никакой надежды. А Тереза?... До сих пор ни разу не подумал о Терезе? Нет. Конечно нет. Но теперь он все чаще ловил себя на мысли, что думает о ней, и воспоминание о Терезе становилось все ошутимее и, казалось, обретало плоть. Андреу, облокотившись на влажную стену, дышал неровно. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь, кто угодно, занялся его делом, и его желание поднималось, как дым, к потолку этой камеры и смешивалось с тысячей других желаний, загаданных толпой других несчастных, плакавших в этом застенке. И может быть, как знать, проскальзывало сквозь прутья решетки и улетало в дождливую ночь. Весь город, как будто бесконечно уставший оттого, что по нему барабанят дождевые капли, тоже безмолвствовал во тьме, позволяя сырости проникать в себя до мозга костей. Как будто печалился от всей этой печали.

20 ноября 1799 года

⁸⁶ *Недоверчивые* – представители Академии Недоверчивых, литературно-исторической организации, основанной в 1700 году в Барселоне группой аристократов и священнослужителей, просуществовавшей до 1714 года и посвященной изучению каталанского языка, литературы и истории. Академия Недоверчивых получила большую известность благодаря изысканности ее заседаний во дворце одного из ее основателей, Пау-Игнази Далмасеса, с кунсткамерой и музыкальными инструментами, чем благодаря творчеству ее членов, называвших себя «мудрецами Эль-Борна». Наследником Академии Недоверчивых считается Королевская академия изящной словесности в Барселоне, основанная в 1729 году.

Милый Андреу, чадо богини Фортуны,

вышеупомянутым происхождением ты обязан вовсе не своему появлению на свет среди смертных (сын музыканта, славного малого, и женичины, навсегда оставшейся для меня тайной), а тому, что ты единственный в мире человек, представь себе, единственный в мире человек, которому я когда-либо в жизни написал два письма подряд. Пишу тебе из дикого края, называемого Перафитой, где-то по дороге в городок Калаф. Ты мог бы задаться вопросом, если, конечно, такие мелочи тебе интересны, что мы забыли возле Калафа девять дней спустя после того, как выехали из Барселоны в ту памятную ночь концерта мадам де Флор, когда всякому очевидно, что за девять дней мы бы могли уже давно приехать в Сарагосу. Гляди, какая выдалась оказия: мы отъехали от большой дороги, потому что выяснилось, что в окрестностях Калафа и Понтса орудует банда разбойников, и мы решили их припугнуть. Мне бы вовсе не хотелось на них наткнуться, поскольку я вполне уверен, что это скорее они припугнули бы меня. Льет дождь. Дождь не унимается весь день. Дождь льет уже девять, или десять, или тысячу дней. А в Барселоне дождик перестал? Здесь, в самой что ни на есть неудобной палатке унитарного образца для всех войск армейской инфантерии, я пишу тебе и слышу, как дождь стучит по крыше, пока Касарес спит. Глуповат он, этот Касарес. Хочет стать военным инженером, а сам елки от сосны отличить не умеет. Да и я тоже глуповат, гоняюсь тут за разбойниками под дождем да под покровом ночи. Мы дали такой солидный крюк, что прибудем в Мадрид с колоссальным опозданием. Я не теряю присутствия духа: главное преимущество армейской жизни в отсутствии необходимости отвечать за принятые тобой решения. Это дело полковника, вид у которого с каждым днем все более рассерженный, но что поделывать, за это ему и платят.

Я бы хотел поговорить с тобою про тебя, Андреу: про твои последние семнадцать стихотворений. Я очень много размышлял о том, что я тебе сейчас скажу. Так что не стоит отвечать мне в приступе гнева; прошу тебя, подумай хорошенько, прежде чем писать мне ответ. Послушай, мне кажется, они не очень хороши. Сонет еще туда-сюда, но остальные не годятся. Знаешь, в чем тут дело? Они сыроваты, чуть-чуть не доделаны, как будто ты ужас как спешил их закончить. С той же искренностью, с какой я тебе об этом говорю (вспомни, как ты раскритиковал мой этюд ля минор), я должен сказать, что восхищаюсь твоей способностью выражать именно то, что ты хочешь. Ах, если бы были у тебя достойные учителя! Но ты, милый Андреу, чадо богини Фортуны, счастливее: вся жизнь у тебя впереди и становится лучше тебе будет с каждым разом все легче, потому что на самом деле наши лучшие учителя – это мы сами. Мне кажется, что в этих достаточно заурядных стихотворениях есть черты истинного поэта. В этом я совершенно уверен. Послушай: а почему бы тебе не попробовать писать по-испански или по-французски?.. Хотя какую чушь я несу: ведь ты двух слов связать не можешь по-французски. Прости. *Excusez-moi, топ quoi-quoi*⁸⁷, вечно влюбленный в красоту во всех ее проявлениях (в особенности в красоту прелестных дам).

⁸⁷ Примите мои извинения, мой Ква-ква (фр.).

Ах, Андреу! Как там Рамбла? Не перевелись ли на акациях синицы? Прибавилось ли кораблей в порту?.. Ты не представляешь, как я тоскую по Барселоне, милый Андреу; не представляешь, каким необъяснимым образом перемишляется во мне желание вернуться и гулять по плаза дель Пи с готовностью отправиться куда глаза глядят в поисках новых впечатлений.

Мне кажется, что истинный путешественник должен уметь тосковать. Тот, кто на это не способен, просто мотается туда-сюда, как лошадь, которая возит прогулочную коляску... Снова я расчувствовался, говоря с тобой. Может быть, я думаю обо всех этих вещах потому, что между скал и ручьев Перафиты не нашлось женщины, которая заставила бы меня все увидеть в ином свете... Да и к чему мне это! «Das Wort Freiheit klingt so schön...»⁸⁸, как говорит чтимый нами Гёте. Запомни это, Андреу: звук слова «свобода» прекрасен для нашего слуха... а я парадоксальным образом, хоть и одет в военную форму, дышу свободой уже оттого только, что пейзажи передо мной превращаются в размышления. Касарес храпит. Он вернул меня с небес на землю. Ах! И где та женщина, что помогла бы мне оправиться от удара при падении на землю-матушку! Я один-одинешенек в нелепой военной палатке и проведу эту ночь с тупо храпящим лейтенантом, для которого природа – пустой звук... Несчастный я человек.

Андреу, на сегодня хватит. Первое письмо к тебе, вчерашнее, я отдал сегодня почтовому курьеру, заехавшему к нам по дороге из Игуалады. Сегодняшнее я, скорее всего, буду долго возить с собой, пока мы не вернемся в цивилизованный мир. Говаривал ли я тебе, что начал читать Новалиса? В следующий раз подробно расскажу. Владелец книжной лавки Гали отыскал мне издание его «Духовных песен» в переводе на французский. В них и чувствительная сторона поэта, который восклицает:

Как жить я мог тоской одною
В горячке будничных потуг,
Не видя, что всегда со мною
И на земле, и в небе друг?

и столь полнокровные и энергичные слова, как:

Заклочены в темничном прахе,
Оковы ржавые влача,
Теряли мы надежду в страхе
Перед секирой палача⁸⁹.

*Не сомневаюсь, что эти строки тебя вдохновят, друг мой Андреу. Вскоре тебе предстоит создать стихи, подобные этим, ведь твою душу питает сила мудрости и искусства. Свеча догорает. Доброй ночи, отшельник из отшельников!
Твой друг Нандо*

⁸⁸ «Слово „свобода“ звучит так красиво...» (нем.) – целиком цитата Иоганна Вольфганга Гёте звучит следующим образом: «Слово „свобода“ звучит так красиво, что без него не обойтись, даже если оно обозначало бы ошибку».

⁸⁹ Новалис. И на земле, и в небе друг. Из «Духовных песен». Перев. В. Микушевича.

* * *

Солнце еще не взошло. Сизет повернул голову и поглядел на только что зажженную свечу. Она уже начинала помаленьку «распускать нюни» и терять форму. Сизет с трудом перевел дыхание, как будто это движение стоило ему больших усилий. Слезы безудержно полились по его щекам: «Господи Боже и святые апостолы, ведь я никогда раньше в жизни не плакал». А теперь плач перемежался с глухим кашлем больного, и Сизет подумал, может ли столько горя уместиться в одном сердце, он же никогда ни о чем не печалился, по крайней мере до того дня, да сотрет его Господь с лица земли, из нашей памяти и из списка моих грехов. И в тот же миг он услышал этот ужасный звук «шлеп», все еще отзывавшийся в его памяти: «Бедняжка Ремей, я чувствую, что виноват в ее смерти, ведь она умерла ни с того ни с сего, без предупреждения, не то что я разваливаюсь по кусочкам и понимаю, что могила не за горами»; «Посадите на ней розы», – бредил Сизет и снова принимался кашлять. Солнце еще не взошло. Был канун Дня Всех Святых. Ему оставалось пережить в одиночестве эту первую мучительную ночь, без Ремей, без ее размеренного дыхания, без этого шороха, который слышался, когда она потирала руки, чтобы согреться, бедняжка Ремей, сколько она всего не дожила; позавчера, у камина, она сказала: «Я устала, завтра дошью» – и так и не заштопала эту рубашку и никогда уже не заштопает, потому что на следующий день она умерла ни с того ни с сего, без предупреждения, в овине дома Перика. Перед смертью она сказала ему: «Сизет, пора...» И не договорила, потому что умерла. Закашлявшись, Сизет поддался приступу гнева, глядя на незаштопанную рубашку. Он не позволил Галане ничего трогать, «нет-нет, Галана, нет-нет»... Эта рубашка так и будет незаштопанной, с воткнутой в нее иголкой, потому что Ремей ее так оставила, когда сказала: «Я устала, завтра дошью». Галану это совершенно не убедило, и она вышла из комнаты, бормоча себе под нос нечто вроде: «Сеньор Сизет, вы так с ума сойдете», – и удалилась на кухню, чтобы приготовить ему ужин и отправиться домой, в эту проклятую ночь Дня всех усопших, которую он впервые проводил в одиночестве.

Закутавшись в одеяло, Сизет думал о том, как давно уже он говорил себе: «Нет-нет, не надо было этого делать». Но он помнил и о том, как он ждал под палящим солнцем напротив монастыря Святого Кукуфаса⁹⁰, когда придет этот ненавистный человек, и он явился и повел его за монастырь, туда, где даже птицы не могли за ними подсмотреть, и дал ему все то, что обещал, целое состояние: «Я своих обещаний не нарушаю, Сизет». Его ослепил этот блеск, и Сизет последовал зову сердца, бессмысленно забившегося при виде золотых монет и не желавшего обращать внимание ни на что другое. Он взял мешочек с деньгами, ни слова не проронил против поставленных условий и дал согласие больше никогда в жизни не знать счастья. «Вот увидишь, Ремей, как придет конец всем нашим тревогам и заботам; нам не придется больше зарабатывать на жизнь; мы всё получим раз и навсегда, Ремей; мы сможем жить, как господа, Ремей». А она сперва недоверчиво молчала, но золотых монет было столько, что потом она тоже поддалась их ослепительному блеску и сказала: «Да, Сизет, больше нам никогда не придется зарабатывать на жизнь». «Вот в чем мы согрешили», – прокашлял Сизет. До восхода оставалось совсем недолго. Но тучам не верилось, и они продолжали оплакивать горе бедняги Сизета. А в голове у него снова раздавался этот звук «шлеп», с каждым разом все сильнее, и Сизету казалось, что он этого не выдержит.

⁹⁰ *Святой Кукуфас* – святой Католической церкви, мученик, живший на рубеже III и IV веков, один из святых – покровителей Испании.

4

Дон Рафель Массо склонился над столом в своем парадном кабинете:

– Взгляните.

Прокурор тоже наклонился, с любопытством, и вслух прочитал:

– «Король Карл ни на что не годен, а королева подстилка Годоя»⁹¹, мои извинения, ваша честь.

– И тому подобное в том же духе, дон Мануэль. Дюжины пасквилей с бунтовскими намерениями, которые этот тип хранил у себя дома.

– Почему мне об этом раньше не сообщили? – Дон Мануэль д'Алос выпрямился и недоверчиво взглянул на верховного судью. – Я представляю обвинение в этом деле!

– Именно по этой причине я и попросил вас прийти, дон Мануэль... Эти бумаги оказались в моем распоряжении только сегодня утром.

Дон Рафель покосился на прокурора, чтобы убедиться в том, что тот делает вид, что верит ему. Он достал табакерку и со вкусом нюхнул табаку. Дон Рафель знал, что нужно действовать с оглядкой. Он не мог позволить себе, чтобы дело об убийстве лягушатницы увели у него из-под носа, а дон Мануэль, как и любая другая важная персона в Аудиенсии, да даже и не особенно важная, был потенциальным врагом. Ни один верноподданный его величества не мог ручаться за свою безопасность, если у него не были налажены хорошие отношения с губернатором. В этом и заключался основной дипломатический прием: достичь благоволения власть имущих, в зависимости от которых находишься. И те, кому, как и дону Рафелю, не довелось родиться ни маркизами, ни баронами, могли рассчитывать только на выгоду, приносимую служебным положением, и на состояние, которое им удавалось сколотить, если они вовремя подсустились. Положение дона Рафеля в этом случае было в тысячу раз труднее, поскольку его высокопревосходительство господин губернатор питал к нему глубоко укоренившуюся неприязнь, вызванную, как уверяли в обществе, соперничеством на любовном фронте. Дон Рафель знал, что губернатор только и ждет удобного случая, чтобы раздавить его как муху, и к тому же даже не запачкавшись. Такие планы лелеял губернатор. Стоит ли говорить о том, с каким страхом и трепетом начинали суетиться все представители высшего света Барселоны, лишённого собственного короля, всякий раз, когда в Мадриде подписывался какой-нибудь указ, имевший к ним отношение. Так произошло и в том случае, когда, около года тому назад, совершенно неожиданно и к вящему вреду для здоровья высокопоставленных чиновников, был назначен суперинтендант полицейского управления Каталонии, должность новая и совершенно никому не нужная, в особенности в свете всеобщих опасений, что с этим назначением начнется капитальная чистка. Но королевский указ есть королевский указ, и всем чиновникам из Аудиенсии пришлось с трусливой улыбкой принимать новоявленного полицмейстера, этого уроженца Эстремадуры, который, несмотря на то что звали его на самом деле Херонимо Мануэль Каскаль де лос Росалес-и-Кортес де Сетубал, был более широко известен своим ближайшим подчиненным под именем Растудыть, волосы имел черные, а нрав крайне свирепый, умел говорить по-португальски и заявлял, что между португальским и каталанским нет совершенно никакой разницы, постоянно цедил сквозь зубы «*não me lixes*»⁹², считал себя умелым картежником и был готов, не бросаясь в глаза, брать мзду, поскольку, в конце-то концов, главная цель его состояла в том, чтобы сделать карьеру.

⁹¹ Мануэль Годой, маркиз Альварес де Фариа (1767–1851) – испанский государственный деятель, фаворит королевы Марии-Луизы и ее мужа Карла IV.

⁹² «Не борзей» (португ.).

– «Да здравствует Республика Каталония...» – в ужасе читал дон Мануэль, – «Свобода, равенство, братство...»⁹³ «Монархия Бурбонов – зло...» – Прокурор в замешательстве поднял голову. – Но это же просто кошмар!

– Что ж, можете забрать все эти бумаги; надеюсь, они вам помогут... поточнее сформулировать обвинение.

Дон Мануэль послушался. Складывая их обратно в картонную коробку, он подумал, что и действительно вовсе не прочь был бы получить информацию о том, правда ли, что королева спит с Годоем; хорош гусь, не кого-нибудь, а настоящую королеву себе завел; не только прокурору, но и многим другим было бы интересно узнать, растут ли под короной Карла IV ветвистые рога. Однако подобные вопросы начальству не задают, особенно в парадном кабинете Верховного суда.

– Мне бы не хотелось, чтобы об этих бумагах стало широко известно. Разумеется, это всего лишь идея, – приказал дон Рафель.

– Не совсем понял... – пробормотал прокурор.

– Как бы вам сказать... – Дон Рафель сделал вид, что тщательно обдумывает обстоятельства дела. – Ни вас, ни меня, ни в особенности губернатора не интересует, чтобы ходили слухи, что в Барселоне существует неконтролируемый очаг мятежников и политических агитаторов, мечтающих о свержении монархии... Или грезящих о былой славе, как сторонники австрийской ветви Габсбургов⁹⁴. Понимаете?

– Но ведь этот один в поле не воин.

– Еще довод в мою пользу! Не вижу смысла раздувать эту историю.

– Думаю, мы должны пресечь это на корню и наказать виновного, чтобы всем было неповадно.

– Повторяю, я не рекомендую делать эти бумаги достоянием общественности. Вам ясно?

– Да, ваша честь. Предельно ясно.

И главный прокурор взял картонную коробку, полную бумаг, согласно которым Андреу Перрамон мог быть обвинен в государственной измене, повстанчестве и терроризме, будучи признанным элементом, опасным для общества, но которые нельзя было никому показывать по причинам, совершенно непонятным господину прокурору. Он поклонился и вышел из кабинета, стать хозяином которого когда-то так страстно желал и «который когда-нибудь станет моим, клянусь Всемогущим Богом».

Дон Рафель из-за стола наблюдал, как прокурор ретировался, не особенно соглашаясь с доводами судьи, но повинуюсь, а этого-то он и хотел, потому что в отношении этих бумаг существовали некие обстоятельства, которые навсегда должны были остаться в тайне. Для замешательства прокурора, в тот момент выходявшего из здания Аудиенсии, имелось логическое обоснование, ведь откуда ему было знать то, что знали только его честь и дон Херонимо Мануэль Каскаль де лос Росалес-и-Кортес де Сетубал, да еще двое полицейских, а именно, что на самом деле было написано в тех документах, которые, по словам дон Херонимо Растудыть, нашли его подчиненные в спальне Андреу Перрамона, в его квартире на верхнем этаже здания на улице Капельянс.

Его честь нехотя нюхнул щепотку табака. Ему было грустно и неудобно. Чувство собственной уязвимости, овладевшее им в те первые дни, снова вернулось со всей силой, угнездившись

⁹³ «Свобода, равенство, братство...» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité) – национальный девиз Французской республики и Республики Гаити, берущий свое начало со времен Великой французской революции.

⁹⁴ Габсбурги – одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (с 1342 г.), трансформировавшейся позднее в многонациональные Австрийскую (1804–1867) и Австро-Венгерскую империи (1867–1918), а также как императоры Священной Римской империи, чей престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 год (с кратким перерывом в 1742–1745 гг.). Помимо Австрии и Священной Римской империи, Габсбурги также были правителями Чехии, Венгрии, Испании, Неаполитанского королевства и других государств.

в его сердце, которое, не ровен час, когда-нибудь и вовсе разорвется. Стоя перед окном и не обращая внимания на то, что происходит на мокрой пласа Сан-Жауме, он осознал значение тех слов Сенеки⁹⁵ или какого-то другого античного мыслителя, которые прочел когда-то давно, студентом: «Человек из всех сил старается отыскать счастье за крепостными стенами, не отдавая себе отчета в том, что может найти его только у себя в сердце». И чихнул, тоже нехотя.

– Они говорят, что я убил женщину.

В ответ из угла камеры послышался кашель, а потом тишина, словно над этими словами следовало хорошенько поразмыслить.

– Я не способен на убийство... А они говорят, что это я... Вот они и держат меня тут уже неизвестно сколько времени.

– Тебя только привезли, милоч. От силы дней десять.

– Я уже сотню лет как здесь.

Снова молчание. Разговоры в этих четырех стенах могут протекать до нелепости тягуче, время здесь словно замедлило ход и идет вразвалочку, выматывая своей вязкостью, как будто внезапно восстало против законов природы и затвердело.

– Отсюда выпускают только в засушенном виде, ногами вперед. – Их снова прервал кашель голландца. – Или уводят на виселицу.

– Но я ее не убивал!

– Да ну! А что ж тогда ты натворил, не просто так, поди, тут сидишь...

– Черт!

Это было никак не связано с тем, о чем они говорили, но внезапно Андреу понял, что в камере уже несколько дней не воняло... А может, это он перестал чувствовать вонь. Он осторожно вдохнул... Как пить дать, легкие уже прогнили и весь он смешался с этой гадостью...

– У тебя что, друзей нет?

– Кого?

– Друзей. Нет у тебя друзей?

Теперь Андреу ясно видел узкое окошечко, через которое извне просачивался только холод, но все ужасное оставалось внутри и наружу не вылетало. Свет не проникал сквозь него вовсе: то ли оно выходило во двор, то ли на улице, как у него в душе, сгустились черные тучи.

– Я хочу по-большому сходить. Можно мне где-нибудь в другом месте испражниться?

– Давно пора. Иди-ка в уголок. Ты столько дней не срал, это не дело.

Андреу встал. На ощупь дошел до пространства между двух стен. Развязал подштанники и сел на корточки.

– Черт, черт, черт, черт!.. – расплакался он.

– Привыкнешь, милоч...

Андреу замолчал. Голландец снова закашлял и проговорил несколько диких слов таким тоном, как будто надеялся, что ему ответят.

– Мели, мели, чудо басурманское, – прокомментировала разговорчивая тень, – тебя на твоем тарабарском наречии тут никто не поймет.

– Нандо! – вскочил Андреу как ужаленный.

– Чего?

– Он меня видел... Было... Было четыре часа или, кажется, три... Он может сказать, что я был уже на улице! – Он подошел к двери и начал в нее стучать. – Найдите Нандо! Нандо знает, что я... Эй! Откройте!

– Не надрывайся, милоч, лучше посри спокойно. Раз уж начал...

⁹⁵ Луций Анней Сенека (4 до н. э. – 65 н. э.) – римский философ-стоик, поэт и государственный деятель.

Маэстро Перрамон попытался достать звезды с небес и свернуть горы. Небесами считались владения епископа, куда он был вхож как церковный органист со стажем. Он даже и в Кафедральном соборе играл во времена епископа Климента. Горой стал Верховный суд, и при одной мысли об этом у маэстро Перрамона застревал ком в горле. Он начал с небес: с ними как-то обычно все проще.

С утра пораньше маэстро Перрамон проник в ризницу, где, по обычаю, если, конечно, ничего не изменилось, каноник Касканте должен был облачаться в ризы перед семичасовой мессой. «Какая неожиданность, маэстро Перрамон, давно мы вас не видели, совсем вы нас, наверное, забыли! Я говорил, что, если в музыкальной школе дела пойдут хорошо, вы о нас и не вспомните». На это приветствие маэстро Перрамон заулыбался и отвечал: «Ну что вы, патер, Кафедральный собор непрестанно в моих мыслях». Каноник Касканте продел голову в отверстие епитрахили и вот-вот собирался взяться за потир⁹⁶, чтобы направиться к алтарю Святой Евлалии, где его ожидали верные прихожане.

– Мне нужна ваша помощь, патер.

Время было не самое удачное для того, чтобы просить служителей собора об одолжении. Чуть не конец ноября, и каноник Пужалс, по личному поручению епископа Диеса Вальдеса, намеревался взять самую высокую ноту в том, что касается религиозных празднеств по случаю наступления нового века: Торжественная месса, новогодний молебен, четыре шествия, организация трехдневных празднеств и увеличение масштаба рождественских и новогодних литургий; визиты представителей различных братств и разнообразные мероприятия – общим количеством семьдесят семь – в монастырях Барселоны составляли такой объем работы, что в епископском дворце все постоянно куда-то спешили, озабоченные секретари с папками угрожали, что, вздумай только председатель братства Святой Крови Господней отказаться идти следом за представителями ордена Пресвятой Девы Марии выкупа невольников⁹⁷, пусть они даже и не мечтают о том, чтобы нести большую статую Христову, «а то вообразили, что раз уж они так близко подобралась к тем, кто вот-тот умрет, то все должны петь под их дудку, не на такого напали; пойдут за теми, за кем я решу, и еще неизвестно, что по этому поводу скажут капуцины, а то иногда кажется, что они только и норовят тебя поддеть. Главное, чтобы его святейшество не вызвал меня на ковер, чтобы дали работать спокойно... иногда я прямо сам не свой; а тут еще эти капуцины... Хорошо, что наступление нового века не отмечают чаще чем раз в сто лет, а то жить бы было невозможно». – «Да-да, конечно, превосходно, сударь!» – «Все хотят сидеть в первом ряду, все на почетном месте, интересно только, где взять такого умника, который бы объяснил мне, как рассадить пятьдесят семь человек важных персон, с супругами, на скамье, куда и двенадцать-то не поместятся. Двенадцать! А кресел всего пять: губернатор, верховный судья, мэр города, епископ, который на ладан дышит, если к тому времени не помрет, и губернаторша. И все тут. Ан нет: полицмейстер желает сидеть в кресле; адъютант его высокопревосходительства губернатора требует, чтобы ему предоставили кресло. Господи боже ты мой! А этому-то Касканте что вдруг понадобилось?»

Каноник Касканте пропустил маэстро Перрамона в кабинет каноника Пужалса: тут всем заправлял он, и только он мог найти решение, если оно, конечно, существовало. Перед каноником лежала груда бумаг (прошений, заявлений, уведомлений, требований, предложений, приказов), каждая из которых, без исключения, имела отношение к религиозным церемониям, посвященным наступлению нового века. Каноник Пужалс машинально проговорил «слушаю вас», и у маэстро Перрамона душа ушла в пятки. Он рассказал канонику Пужалсу, что «Андреу арестовали, патер, это же нелепость, он мой сын, я за него головой ручаюсь, патер, он не спосо-

⁹⁶ *Потир* – сосуд для христианского богослужения, применяемый при освящении вина и принятии Святого причастия.

⁹⁷ *Орден Пресвятой Девы Марии выкупа невольников* (Мерседарины) – католический монашеский орден, основан в 1218 году. Главной целью ордена был выкуп из мусульманского плена христиан.

бен ни на что подобное», а каноник Пужалс отвечал: «Да, я вам сочувствую, жалость какая» – и, на минуту оторвавшись от столетней бюрократии, прислушался к рассказу о безутешном юноше, который, «нет же, патер, он жил один, не с нами, отдельно». И каноник Пужалс, человек энергичный и медлить не привыкший, тут же нашел решение и черкнул несколько строчек на листе бумаги, адресованном почтенному дону Рафелю Массо-и-Пужадесу, председателю Королевской аудиенсии провинции Барселона, в подтверждение того, что его честь вместе с супругой во время новогоднего молебна и Торжественной мессы будут сидеть в креслах, а не на скамье, и в заключение попросил его, чтобы он выслушал прошение, с которым обратится к нему податель сего письма.

– А теперь, с вашего позволения, я должен уделить внимание неотложным делам: с минуты на минуту меня ждет епископ.

Закрывая дверь за маэстро Перрамоном и главным ризничим, каноник Пужалс уже напрочь забыл о нелепой истории ареста юноши, кроме всего прочего, еще и потому, что в руках у него оказался окончательный, бесповоротный, решительный отказ представительниц ордена бенедиктинок сидеть на задней скамье, сбоку, особенно в том случае, подчеркивала их настоятельница, если на передней скамье будут сидеть августинки.

Тереза, стоявшая за дверью, задрожала от волнения, когда услышала, как Андреу сказал Рокаморе и Сортсу-младшему: «А вы заметили, какие прекрасные глаза у девушки, которая помогает отцу по хозяйству? Никогда не видел таких красивых глаз». И с той минуты Тереза в него влюбилась. Всякий раз как эти трое, в узком кругу или в более шумной компании друзей, заходили к Перрамону поиграть на музыкальных инструментах или излить друг другу душу, она летала по дому, словно на крыльях... Как-то раз, когда маэстро Перрамон попросил ее отнести в зал для занятий музыкой нехитрые закуски, которыми он всегда потчевал своих гостей, Андреу незаметно положил ей на поднос записку. Это было стихотворение. Изящный сонет, посвященный черноглазой красавице. Только поздно вечером, оставшись одна в своей комнате, она смогла внимательно прочесть послание. В нем мечтательный Андреу, следуя классическим образцам любовного мадригала⁹⁸, умолял девушку с глазами цвета черной яшмы непрестанно глядеть на него, когда он рядом, поскольку свет ее очей – единственное утешение его измученной души, и в последнем терцете добавлял, что сочинил сонет в надежде получить ответный дар. Андреу даже и в голову не пришло, что, в соответствии с элементарнейшими канонами любовной поэзии, красавица уже осчастливила поэта, одарив его взглядом, а стихотворение – не что иное, как выражение благодарности... Но все сложилось так, как сложилось, поскольку Андреу был недоучкой самого невысокого полета. И к тому же ей, девушке не шибко ученой, даже и в голову не пришло, что единственный дар, о котором умоляет стихотворец, – это поцелуй. Напротив, она приняла его слова буквально и, собрав все свои нищенские накопления, купила ему медальон, на одной стороне которого была изображена женская фигура, чем-то напоминавшая ее, а на другой – выгравировано имя Андреу Перрамона.

– Зачем же ты?... А зовут-то тебя как?

– Тереза... – Перед Андреу она как будто остолбенела, глядя, как он развернул медальон и изумился.

– Зачем же ты это? – снова удивленно спросил он.

– В стихотворении ты говорил, что хочешь, чтобы я подарила тебе подарок.

– Но я же не...

И тут Андреу понял: объяснить, что значение образа следует толковать в переносном смысле, гораздо труднее, чем согласиться принять этот дар. Поэтому он промолчал, а еще потому, что девушка была прехорошенькая. Он улыбнулся, глядя в восхищенно смотревшие

⁹⁸ *Мадригал* – небольшое музыкально-поэтическое произведение, обычно любовно-лирического содержания.

на него глаза, и в порыве нежности сказал: «Я всегда буду носить этот кулон на шее. Клянусь тебе, Тереза». И тут же надел его. Тереза с того дня была счастливейшей девушкой на свете, поскольку верила, что любима своим возлюбленным. Андреу же, напротив, завертевшись в суতোлке дней, понятия не имел, что Тереза считает, будто он ее любит, и тем более не догадывался, что Тереза – любовь всей его жизни; для него она оставалась все той же «девчушкой, помогавшей отцу по хозяйству, у которой такие красивые глаза». Только отныне на шее у Андреу висел медальон, дар любви.

И вот, когда маэстро Перрамон вернулся в тот день домой понурый и пробормотал: «Ничего нового, покамест ничего нового» – и принялся с аппетитом уплетать эскуделью⁹⁹, рассказывая Терезе, что произошло во владениях епископа и в Верховном суде и, в конце концов, что в здание суда его не пустили, но что у подъезда один из слуг, очень любезный, сообщил ему, будто где-то слышал, что против Андреу имеется неоспоримая улика, а на вопрос «какая же» ответил, что слуга ему шепнул, будто в комнате убитой женщины нашли медальон, на котором, по словам слуги, выгравировано его имя, жизнь Терезе стала не мила.

– Да что с тобой такое? – удивленно спросил маэстро Перрамон, увидев, что девушка побледнела.

Но Тереза не ответила. Она внезапно вскочила и вышла из кухни. Маэстро Перрамон задумчиво посмотрел ей вслед и ничего не сказал, потому что голова у него была занята другими бедами, однако реакция девушки его удивила. Долго раздумывать об этом музыкант не стал, поскольку сердце у него разрывалось оттого, что жизнь сына находилась исключительно в его руках. Он доел суп, но приняться за мясо сил у него уже не хватило. Маэстро Перрамон сидел, глядя в огонь очага, и делать ему ничего не хотелось. Он чувствовал себя ни на что не годным стариком, посвятившим всю свою жизнь тому, чтобы ни один из толпы оболтусов, певших в хоре мальчиков церкви Санта-Мария дель Пи, не фальшивил. А когда оставались силы, ходил по приютам в поисках мальчишек с хорошими голосами или же давал уроки сольфеджио, игры на органе, на скрипке, на клавикордах или на чем бог пошлет. Каждый божий день маэстро Перрамон проводил, отбивая такт и стараясь не зевать слишком явно. А теперь он оказался единственным человеком, заинтересованным в том, чтобы убедить совершенно безразличных к этому делу чиновников в совершенной невозможности того, чтобы его сын оказался убийцей.

Бедняжка Тереза выбежала из дому, чтобы отдышаться. Она задыхалась от боли и печали. Жить дальше ей было совершенно незачем. Ее милый Андреу, самый прекрасный в мире юноша, обожаемый ею изо всех сил, попал в беду из-за того, что в какой-то мере тоже ее любил. Прошел уже год с тех пор, как она подарила ему медальон, но в ту роковую ночь он все еще висел у него на шее. Терезе не хотелось думать о том, что ночь Андреу провел с француженкой. Нет. Ей было от этого тоскливо... Рассудка же ее лишала мысль, что Андреу отправят на виселицу, если никто не сможет отстоять того, что она знала, не нуждаясь ни в каких доказательствах: Андреу не способен никого убить, «Андреу, родной мой, как тебя могут в этом подозревать». Она снова подумала о своем кулоне, и ей безумно захотелось кричать. Девушка бегом вернулась домой и помчалась в чулан. Она заперлась там в темноте, просунула голову сквозь дверцу старой печки, в которой раньше пекли хлеб, теперь служившей хранилищем для сухих дров и пристанищем для редких мышат, и рыдала, кричала, ревела до тех пор, пока не выплакала всю ярость. И дрова отсырели от воплей, рыданий и слез.

Суперинтендант Сетубал откинулся назад и рассмеялся. «*Não me lixes!*» – презрительно проговорил он. Андреу взглянул на него с ненавистью, но промолчал. Тут открылась дверь. Тюремщик с кислой миной впустил кого-то в камеру. Андреу, сквозь дымку боли, разглядел

⁹⁹ Эскуделья – традиционный каталонский суп с мясом.

длинного и тощего человека в парике, зажимавшего себе нос надутым платочком. Увидев его, де Сетубал привстал и сказал: «Вот это он и есть, ваша честь; сейчас во всем признается». Один из прихвостней суперинтенданта схватил Андреу за волосы на макушке и пригнул его голову к полу, провонявшему чужим потом и чужими страхами:

– Куда ты, тварь, спрятал нож?

Андреу попытался сказать, что он не убивал певицу, что это ошибка. Но вместо этого, поперхнувшись, закашлялся.

– Вы понимаете, он изо всех сил пытается сделать вид, что не имеет к убийству никакого отношения.

Дон Рафель, прикрывая рот и нос надутым платочком, с любопытством поглядел на Андреу. Судья поглядел ему в глаза. Ему было глубоко наплевать, из-за чего этот юноша превратился в жестокого и кровожадного убийцу. Ему хотелось выведать... по какой неведомой ему причине у этого паренька дома хранились эти документы... Хуже всего, что он не мог его об этом спросить напрямик, потому что никому, за исключением Сетубала, не следовало знать того, что известно ему и чем были продиктованы все его действия; никто, включая и самого обвиняемого, который в любой момент мог заявить о существовании этих бумаг и вызвать подозрения. На данный момент дон Рафель понимал одно: вся эта история пахнет угрожающе. Не говоря уже о том, что за молчание Сетубала ему приходилось платить втридорога.

После пары тумачков по носу, трех ударов коленом в пах, двух – прямо в печень, одного – в солнечное сплетение и трех попыток удушения многое прояснилось: во-первых, что нет, убийца не собирается сотрудничать со следственными органами; во-вторых, что да, в конце концов проклятый идиот все же признался, что в ту ночь был в комнате у жертвы, – бедняга Андреу, не желавший раскрывать эту тайну, чтобы не запятнать честь дамы! – в-третьих, что да, они чего только не вытворяли, «но я ее не убивал, клянусь Господом Богом», на что Каскаль де лос Росалес-и-Кортес де Сетубал, человек глубоко религиозный, дал ему по губам, чтобы не богохульствовал; в-четвертых, что «как вам сказать, я в первый раз ее увидел за несколько часов до того, во дворце маркиза де Досриуса»: то есть они были незнакомы, но он ей приглянулся; в-пятых, «еще чего, так мы тебе и поверили, что поиметь ты ее поимел, а до ножа дело не дошло? Тоже мне гусь!» Еще удар в пах и печень. И так продолжалось полтора часа, до тех пор, пока дон Рафель, наблюдавший за избиванием через глазок в двери из опасения, чтобы его не забрызгали, не решил, что, может быть, и имеет смысл спросить у арестованного юноши, «откуда у тебя эти бумаги», и Андреу сквозь туман тошноты и ударов глядел на совершенно незнакомые ему бумаги непонятного содержания, ведь разве мог он догадаться, что это те самые документы, которые дал ему в конверте Нандо, только уже без конверта, и говорил, «откуда мне знать, не мои это бумаги, Пречистая Дева Мария, Матерь Господняя, меня сейчас вырвет, меня сейчас... я ее не убивал!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.